

**ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ И НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ,
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ
И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ**

ТЕЗИСЫ

**МОСКВА
29-30 СЕНТЯБРЯ 2016**

**INSTITUTE OF WORLD HISTORY
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES**

INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE

**THE WORLD HISTORY
AND NEW CHALLENGES
OF HISTORICAL SCIENCE:
NATIONAL, TRANSNATIONAL AND
INTERNATIONAL APPROACHES**

MOSCOW

29-30 SEPTEMBER 2016

УДК 93/94
ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-94067-472-6

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО ГУ-
МАНИТАРНОГО НАУЧНОГО ФОНДА (ГРАНТ №16-01-14061 «ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ,
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ»)

Редакционная коллегия:

**М.А. Липкин (отв. ред.), С.Б. Вольфсон, О.В. Воробьева,
Е.Е. Савицкий.**

**Всемирная история и новые вызовы исторической
науки: национальные, транснациональные и интернацио-
нальные подходы: тезисы международной научной конфе-
ренции / Под ред. М.А. Липкина (отв. ред.), С.Б. Вольфсона, О.В.
Воробьевой и Е.Е. Савицкого. М.: ИВИ РАН, 2016. 155 с.**

© ООО «Эвент-Академия»

© Институт всеобщей истории РАН

Д.А. АНИКИН

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ ПОСТКОЛОНИАЛИЗМА¹

Существенным компонентом проблематики социальной памяти является вопрос о субъекте данной памяти. Еще М. Хальбвакс указывал на то, что носителем коллективной памяти, впрочем, как и носителем индивидуальной, является отдельный человек. Но в одном случае его память является скоплением фактов и воспоминаний о событиях его собственной жизни, а другом – через последовательность содержащихся в его памяти исторических фактов репрезентируется определенная социальная общность, к которой он принадлежит. У самого Хальбвакса в качестве таких общностей выступает семья, религиозная группа и социальный класс (профессиональная группа).² Но во всех указанных группах, несмотря на возможность существования целенаправленного усвоения коллективных воспоминаний, все-таки приобщение к коллективному историческому опыту представляет собой естественный процесс. Если же говорить о сознательной передаче исторического опыта в качестве неотъемлемого элемента социализации индивида, то основным субъектов социальной памяти выступает государство. Точнее говоря, та

¹ Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-33-01003 «Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности»

² Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. С. 185-188.

форма государства, которая именуется еще в социальных науках «национальным государством».

Хотя процесс складывания наций представители социального конструктивизма (Б. Андерсон) относят к XVII-XVIII вв, но, как констатирует А. Миллер, именно «в условиях Великой Французской революции нация впервые стала тем, чем она постепенно становилась в других странах, – единственным источником легитимности, ключевым политическим символом, мощным инструментом мобилизации, включения/исключения, предметом борьбы и манипуляций со стороны всех политических сил».³ Создание такой нации было невозможно без конструирования общего исторического прошлого, отныне уже не соотносимого с последовательностью сменяющих друг друга правителей, принадлежащих к одной династии. С точки зрения формальных критериев, на первый план выходит единство территории и языка, а в символическом смысле единство нации воплощают монументы и могилы Неизвестного солдата.⁴ Неопределенность содержимого этих могил выступает, скорее, дополнительным фактором солидаризации индивидов, механизмов подкрепления их воображаемой общности, В этом смысле конструирование общих моделей восприятия прошлого, передача определенного набора идеологически окрашенных воспоминаний – это процесс становится условием формирования и поддержания национальной идентичности. Национальная память, согласно Б. Андерсону, всегда нацелена на преумножение внут-

³ Миллер А. *Нация, или Могущество мифа*. СПб.: Издательство Европейского университета, 2016. С. 32.

⁴ Андерсон Б. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 33.

ренных различий и преувеличение внешних. Обычно в качестве значимого Другого, по отношению к которому складывается национальная идентичности, выступают другие национальные общности, наделенные суверенным политическим статусом.⁵

Но важно понимать, что национальные государства становятся естественным продолжением государств имперского или колониального типа, которые начали формироваться еще на заре формирования капитализма и возрожденческих ценностей. Несмотря на определенное своеобразие в характере самих символических связей в национальном государстве, подобная генеалогия заставляет обращаться к анализу механизмов выстраивания коллективной солидарности и коллективной памяти в контексте выстраивания колониального господства. По словам А. Миллера, «большие европейские нации формировались в ядре империй, и их строительство неизменно затрагивало вопрос о том, какие этнические, конфессиональные, языковые, расовые критерии используются для определения членства в нации».⁶

Разумеется, процесс нациестроительства постепенно разъедал колониальную систему, что в итоге и привело к ее краху в середине XX века, но на протяжении длительного времени национальное государство продолжало оставаться колониальным по своим пространственным характеристикам, что не могло не отражаться на характере конструируемых в обществе образов коллективной памяти. Интересно, что П. Нора в своей классификации типов памяти разводит «память-государство» и «память-нацию», по сути, противопоставляя тот тип социально-

⁵ Там же. С. 27.

⁶ Миллер А. *Нация, или Могущество мифа*. СПб.: Издательство Европейского университета, 2016. С. 32.

го устройства, который явился продуктом революционных преобразований, «Старому порядку».⁷ Он игнорирует тот факт, что как раз колониальные характеристики французского символического порядка оставались незыблемыми элементами государственного устройства как в дореволюционной, так и в постреволюционной Франции.

Данный аспект – взаимосвязь механизмов функционирования представлений о прошлом с колониальным типом социального пространства – долгое время отсутствовал в ракурсе мемориальных исследований, хотя хронологическое сочетание кризиса национального государства и всплеска интереса к конструированию социальной памяти не могло пройти незамеченным. По словам С.П. Баньковской, «роль национальных государств как субъектов экономической и политической активности существенно изменилась в современной международной системе....новое качество современного национального государства отнюдь не снижает накала национализма, но заставляет увидеть в нем то, что в классических интерпретациях отступало на второй план».⁸ Иначе говоря, смена оптики, вызванная окончательным распадом колониальных систем во второй половине XX в., вызвала к жизни потребность объяснения того, какие символические механизмы были задействованы этими системами для поддержания коллективной солидарности.

⁷ Нора П. Между памятью и историей // Франция-память. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 52-53.

⁸ Баньковская С.П. Воображаемые сообщества как социологический феномен // Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 9.

Таким образом, предпосылкой возникновения постколониализма стал кризис не только институциональных структур, но и тех символических систем, благодаря которым эпоха Просвещения смогла сохранить существующий порядок взаимодействия между европейскими странами-метрополиями и их колониальными владениями. Постколониализм, в качестве методологии исследования, «стремится вскрыть великие нарративы имперских и национальных историй, деконструируя представление об эпохе Просвещения как о прогрессивной истории для того, чтобы выявить или указать на истинность или ложность исторических нарративов».⁹

Постколониальные исследования предлагают анализ общества посредством установления взаимосвязей между социальным порядком метрополии и колонии. Это означает, что необходимо рассматривать память метрополии и память колонии как взаимосвязанные формы встраивания исторического опыта в метанарратив. Колониальное пространство служит принципиальным Другим по отношению к пространству метрополии, тем самым формируя своеобразный образ национальной памяти, предполагающий расширение и распространение определенной социальной общности, а также постепенное включение в ее состав новых этнических групп.

В условиях необходимости символического выделения нации происходит любопытный процесс сочленения горизонтальных и вертикальных социальных связей в условиях одной институциональной структуры. С одной стороны, формируется представление о символическом равенстве между представите-

⁹ *Duara P. Postcolonial History // A companion to western historical thought / Ed. By L. Kramer and S. Maza. Blackwell Publishers, 2002. P. 417.*

лями нации (горизонтальные социальные связи), а с другой – поддержание подобных связей и возможность игнорирования других критериев неравенства оказывается возможным за счет сохранения вертикальных связей между представителями метрополии и жителями колониальных владений. Иначе говоря, символическая устойчивость национальному государству дается за счет противопоставления сообщества равных (в символическом, а не в экономическом смысле) граждан тем локальным сообществам, которые воспринимаются как заведомо неравные. В таких условиях национальная память выстраивается за счет проведения символических границ между государственной нацией и другими жителями колониального государства, а господствующей моделью мемориального нарратива становится образ неуклонного прогресса (в том числе и пространственного) нации.

М.В. БЕЛОВ

«СЛАВЯНСКАЯ ВЗАИМНОСТЬ»:

ТРАНСФЕР И ПЕРЕИЗОБРЕТЕНИЕ

Доктрина «славянской взаимности», получившая законченное выражение в творчестве Я. Коллара, часто обсуждается в контексте ее соотношения со схожими идейно-терминологическими образованиями («славянская идея», панславизм) и собственно с доктринами нациестроительства в разных ареалах славянского мира. Предполагается, в частности, что «взаимность», по большей части, объективно носила приготовительный, компенсирующий и вспомогательный характер в условиях, когда ресурсы нациестроительства были недостаточны.

В свою очередь, некоторое время назад О.В. Павленко предприняла попытку оценочной ревизии и относительной нейтрализации термина «панславизм», рассмотрев варианты его ситуационного употребления и изменчивого содержательного наполнения, а также указала на мифологический слой в каждом из них. Следуя этой новации, исследовательница приписала Коллару панславизм в «чистом виде», имея в виду «отстраненность [ее] автора от политики и его профессиональную скрупулезность»¹, то есть непричастность к спекулятивным манипуляциям какого-либо рода. Впрочем, это предложение не получило весомой поддержки, по-видимому, из-за той оценочной нагрузки, которая по инерции тянется за термином «панславизм».

¹ Павленко О.В. Панславизм // Славяноведение. 1998. № 6. С. 49.

Автор процитированной статьи и другие исследователи специально указывали на сходство некоторых основных элементов колларовской теории «взаимности» с «Идеями к философии истории человечества» И.Г. Гердера, который в четвертом томе названного сочинения поместил панегирический параграф о славянах. Утрируя это сходство и расширяя масштаб, соблазнительно представить «славянскую взаимность», а также сопутствовавшие ей или следовавшие за ней национальные идеологии как трансфер германского историзма (вслед за Гердером, йенских романтиков, Шеллинга и Гегеля), однако такое сильное допущение нуждается в серьезных уточнениях. Во-первых, подобный подход часто редуцирует многосложный характер трансфера и его различия в неоднозначных культурных и социально-политических средах. Во-вторых, при таком подходе оказываются за бортом домодерные идеологические усилия по конструированию этнических и надэтнических общностей², иногда инспирированные актуальными мобилизациями. В целом такая редукция находится в тренде европоцентризма и «украденного воображения» (если вспомнить постколониальную критику Б. Андерсона). Интуиции, а затем и более оформленные образы или идеи «славянской взаимности» слагались из разных источников и многократно переизобретались при этом трансфер, который сопровождал этот процесс, не был ни однолинейным, ни однонаправленным. Более того, сама теория «славянской вза-

² См., например: *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI – начала XVIII века. СПб, 1996, 2000 (2-е изд.). *Он же.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999.

имности» легитимировала интенсивный трансфер внутри обозначенного ареала, ради самоусиления, хотя не могла, да и не стремилась формально исключить влияние Большой Европы (отдельных ее «исторических наций», «великих держав») в качестве притягательного и вместе с тем пугающего субъекта.

Нет сомнений, что новаторство Гердера в области филологии, фольклористики и этнологии, теории истории и, в частности, его фаворитизация малых и угнетенных народов, включая славян, послужили воодушевляющим стимулом для новых отрядов интеллектуалов, начиная с рубежа XVIII–XIX веков, в том числе для теоретиков «славизма» в разных его вариациях. Однако, как было показано ранее, та конструкция «славянского характера», которая представлена Гердером в соответствующем параграфе его «Идей», удивительным образом напоминает ответ Екатерины II на предложенный Д.И. Фонвизинным на страницах «Собеседника любителей русского слова» (1783) вопрос: «В чем состоит наш национальный характер?»³. При этом четвертый том «Идей» Гердера вышел из печати спустя несколько лет — в 1791 г. Стоит ли в данном случае допускать его зависимость от екатерининской пропаганды?

Так или иначе, нет никаких сомнений, и это указывал сам автор на страницах своего сочинения, на него повлияли, кроме прочих, деятели национально-просветительского этапа «чешского возрождения», опубликовавшие свои труды на немецком. В свою очередь, они, как и другие авторы, которыми пользовал-

³ Белов М.В. «Славянский характер»: русские публицисты, литературные критики и путешественники первой половины XIX века в поисках народности // Диалог со временем. 2012. № 39. С. 126–127.

ся Гердер, опирались на сочинения предшествовавших веков (эпохи европейского Возрождения и Барокко).

Высказанные замечания заставляют обратиться к теоретическим основаниям модели «трансфера», впрочем, не вполне разработанным. Разумеется, сам этот термин является примером понятийного *трансфера* из словаря экономики, а точнее, из банковского дела, транспортной логистики и технологии в гуманитарную мысль. Равным образом такую экспансию можно рассматривать и как способ символической докапитализации (по П. Бурдьё), иными словами, как академический ребрендинг, и как поиск общенаучного понятийного аппарата в условиях эрозии дисциплинарных границ, и как проекцию доминирования неолиберализма и технократии. Модель «трансфера» терминологически замещает старую проблематику: циркуляция институтов, идей и практик; влияния, подражания и заимствования; догоняющее развитие (список можно продолжить). Следовательно, она частично абсорбирует выработанные ранее теории рецепции, перевода, диалога, семиозиса и т.д. При этом важно подчеркнуть ключевую для «трансфера» метафору пространства, к которой отсылает этот термин. Не случайно, его применение было совмещено, например, с изучением обменов в пространстве имперской (колониальной) географии. В другом случае, имея дело с, казалось бы, чисто интеллектуальным продуктом, распространяющимся в изменчивом пространстве «мировой литературы», исследователи (П. Казанова, Ф. Моретти) опирались на центр-периферийную парадигму в изложении Ф. Броделя и И. Валлерстайна. Любопытно, что тот же самый подход, по-видимому, совершенно независимо от них разрабатывал Ю.М. Лотман, описывая динамическое пространство своей «семиосферы». Напомним, однако, что Валлерстайн продук-

тивно усложняет градацию, помещая между центром (ядром) и периферией мир-системы модерна промежуточную зону полупериферии.

Следуя этой логике, «Буря и натиск» в полупериферийной Германии была восстанием против центра Европейского просвещения, и породила культурные модели, позволившие немцам (после «революции романтиков»), даже не достигнув государственного единства, занять доминирующие позиции в интеллектуальном пространстве постпросветительской Европы. Трансфер новых идей в славянскую периферию ограничивался местным спросом, а теория «славянской взаимности» оказывалась одновременно продуктом реимпорта и переизобретения.

Соотношение поэтики («литературной взаимности») и политики («панславизма») в этих идеологических приключениях, в свою очередь, нельзя подвергать чрезмерно строгому стадийному и типологическому разделению или радикальному противопоставлению. Опять же такое соотношение являлось динамичным и ситуативно-обусловленным. В одном случае, по тем или иным причинам, даже очень робкие политические мотивы скрывались, в другом случае, они, напротив, выпячивались и, что нередко, подменялись в расчете на нечто другое.

Исследователи национальных движений неоднократно подмечали, что его активисты (прежде всего, «второго поколения»; фаза В, по схеме М. Гроха), терпя поражения, вынуждены были отступать на старые позиции или искать иные пути методом проб и ошибок. Иными словами, их деятельность сопровождалась все новыми микротрансферами и переизобретениями.

«ГЛОБАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» И НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ «ГЛОБАЛЬНОГО АНАЛИЗА»*

Пространственный поворот («специализация») открыл для гуманитарных наук большое междисциплинарное поле, в рамках которого сегодня формируется множество новаций. Основными из них являются версии т.н. глобальной, транснациональной, интернациональной, связанной, перекрестной, новой мировой истории и близких к ним истории трансферов, новой истории империй, постколониальных исследований. По сути, все они – это своеобразный ответ на вызов глобальной реальности, имеющей парадоксальный характер. Во-первых, внутри нее действуют разнонаправленные по вектору процессы, во-вторых, она включает в себя разнородные и разнотипные по своей сути части, не исключаящие, тем не менее, наличие этой целостности. К тому же эти части с трудом поддаются иерархическому подчинению, которое в этой ситуации приобретает, скорее, ситуативный и функциональный порядок. У этого множества отсутствует единый центр, и основное значение начинают играть не части, а многочисленные связи и отношения между ними (схватываемые через понятия «сети», «потoki», «пучки отношений» и т.п.), которые и вырабатывают механизмы и принципы соотне-

*Тезисы подготовлены при финансовой поддержке РНФ, проект 15-18-00135 «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности».

сения разнородных частей глобального целого и создают, в итоге, искомую когерентность.

Другой важной особенностью глобальной реальности является переход к информационному обществу, и информационно-коммуникативные взаимодействия в чем-то сложнее социальных, хотя бы потому, что, в отличие от социальных миров, которые имеют границы, информационное пространство безгранично, а стало быть, не поддается жесткой увязке с социальными системами. Мир превращается в неопределенную и объединенную информационными потоками реальность, у которой нет природных границ. Включение человека в процессы глобализации – это постоянное пересечение границ и реальных, и виртуальных, постоянное пересечение локального и временного.

Очевидно, что представить такой парадоксальный образ мира и объяснить его в рамках логики сущностей, равно как в рамках дисциплинарного идеала научного знания, просто невозможно. Понятно также, что целостность современного мира, явно принадлежа к объектам несистемного класса, не может быть выражена и в категориях системного анализа. Возможно, в этой ситуации следует говорить либо о несистемном анализе, либо о возникновении другого типа системности (конституированного не частями, а связями), либо о необходимости соединения системного и несистемного анализа. Поэтому вряд ли современный анализ мира возможен без обращения к идейному и концептуальному потенциалу синергетики, диатропики и др., то есть без активного сотрудничества естественнонаучного и гуманитарного знания в едином пространстве трансдисциплинарности.

Пытаясь найти адекватные способы схватывания мира, современная историография отдает предпочтение различным версиям так называемой «глобальной истории», а именно близким

к ней по смыслам «связанной», «перекрестной» и «транснациональной» историям, а также истории трансферов. Первая видит свою нишу в изучении переплетения историй нескольких обществ, государств и т.п. Вторая делает акцент на пересечении и взаимодействии людей, техник, практик, идей и т.п., в результате чего возникает новое «пространство понимания». Третья фокусирует свое внимание на контактах, движениях и силах, пересекающих национальные границы, либо имеющих надгосударственную природу. Четвертая ставит во главу угла культурные переносы и заимствования. Как следует даже из этого самого общего определения, все они пытаются найти *другую мироперспективу* – более объемную, разноплановую, диалогичную и, главное, *неевропоцентричную (!)* и одновременно другое, более «сложное мышление», другую методологическую основу, учитывающие разный уровень знания об исследуемых предметах, разный контекст их бытования и т.д. и т.п.

Из этого, собственно, вытекают все сложности глобального анализа. Одна из них, в частности, состоит в том, что многие понятия, при помощи которых сегодня пытаются анализировать глобальную реальность, возникли в определенном культурно-историческом ареале и, будучи связанным с определенным проектом истории, довольно трудно транспонируются в иные рамки. Для понимания этого достаточно помыслить о том, сохраняют ли познаваемое нами при помощи западных понятий смысл в других местах, и, если да, то как? Как далеко на практике распространяется западные идеи истории, цивилизации, нации, локального, глобального и т.д.? Действительны ли они только в породившем их месте, в одной культурной локации или повсюду? Ответ, дающийся в рамках европейской идеи истории, может быть только один – повсюду, ибо существует единый мир

и единая история, а разные миры/культуры/цивилизации суть единства большого мира. Вместе с тем за пределами этого проекта в других пространственно-временных ареалах существуют свои проекты, ничего (или почти ничего) об этом не подозревающие. И они, порой, оказываются настолько разными, что приходится задуматься не просто о наличии разных точек зрения на один и тот же мир, а о разных мирах, порожденных разными проектами. Однако на практике все оказывается гораздо сложнее, потому что если мы начнем проводить эмпирические и ситуационные исследования, то обнаружим, что западные идеи, а вместе с ней и западный исторический дискурс все же распространяются за пределы европейской/западной цивилизации, но распространяются до определенных пределов. Западные представления о мире как совокупности локальных культур и одновременно единой человеческой цивилизации пересекаются с другими проектами и, благодаря постоянно идущему взаимодействию и интерференции, частично переходят друг в друга. Особенно очевидным это становится в эпоху модерна, благодаря быстрому расширению колониальных империй.

Что не схватывается прежними представлениями или наоборот – становится видимым благодаря этим представлениям?

Мир не является ограниченным множеством определенных, независимых, регулярных и предшествующих нам процессов, образующих некую единственную реальность. Конечно, локальные структуры можно идентифицировать, но мир в целом не втискивается в эту упорядоченность, потому что иные конstellации практики могут сделать возможными другие конфигурации этого локального. Кроме того, надо осознать, что используемый нами термин «локальный» в значительной мере за-

висит от европейского понимания пространства как некоего вместилища для более мелких локальностей, определяемого посредством разного рода географических и других координат. Точно также мыслится нами и «глобальное», которое в свою очередь, является таким же вместилищем для четко отделенных друг от друга локальностей. Между тем, нарождающаяся на наших глазах новая эпистемология рассматривает их как непрерывно реализующиеся в наших практиках ментальные конструкты. Это не означает неограниченного релятивизма и непроницаемости этих структур в духе О. Шпенглера. Поскольку наши представления о мире все-таки частично пересекаются и переходят друг в друга, мы можем говорить о частичных совпадениях, пересечениях и конфликтах. Поэтому любые исследуемые нами структуры/феномены/процессы, явления на поверку оказываются гетерогенными, множественными и подвижными, они постоянно меняют свою форму, двигаются и скользят между разными практиками, разворачивающимися в разных местах и между разными контекстами, в которые мы их помещаем. Значит, мы должны переопределить свое понимание определенности. Мир может являться нам в какой-то момент как определенный, но при этом постоянно менять свои формы.

Как это можно помыслить? По-видимому, требуется другая метафизика, другая методологическая культура и новый словарь. Мы нуждаемся в таком способе говорить, который имеет дело с текучестями, рассеиваниями, сплетениями, мы нуждаемся в том, чтобы научиться мыслить движение. Указанные выше версии такой «подвижной истории», объединяемые зачастую под зонтиком глобальной истории, а также близкие к ней «новая история империй», постколониальные исследования», «новая компаративная история» и др. тем и привлекательны, что, так

или иначе, разделяют подходы, выходящие за национальные рамки; ставят своей задачей изучение не устойчивых систем, а именно взаимосвязей, циркуляций (каналов, способов, рецепций), взаимообменов и взаимовлияний, выраженных через категории сетей, потоков, пучков отношений, сгущений, культурных переносов, медиаторов и т.п., призванных показать коэволюцию и коадаптацию различных частей мира как глобальной целостности.

Такой словарь, как представляется, является удачным, т.к. позволяет показать не только движение *между*, но и постоянное собирание новых паттернов, при котором соединяемые элементы не приобретают постоянную фиксированную форму и не принадлежат более к обширному предданному списку, а конструируются (по крайней мере, отчасти) в ходе взаимного переплетения. Полученное в результате собрание имеет структуру сплетения, скрещивания, позволяющую различить его и одновременно разделить различные нить, смысловые и силовые линии и завязать новые. В такой множественности важны не элементы, а то, что находится между ними – промежутки, набор неотделимых друг от друга отношений. Быть, значит, быть с чем-то связанным, соотнесенным. Другими словами, в пространстве глобальной истории локальные и временные устойчивости возникают из потока и создают условия для производства новых временных устойчивостей. Вот почему каждое новое исследование должно быть осторожным и колеблющимся развертыванием (т.е. одновременно существительным и глаголом), а новый метод не может и не должен быть ограничен репрезентацией.

К такой переоснастке исследовательского словаря и инструментария подталкивают не только современные эпистемо-

логические сдвиги, но и качественно новое состояние мира и человека в нем, формирующееся под влиянием глобализации и уже не укладывающееся в те термины анализа реальности, которые использовались в до-глобалистскую эпоху.

А.В.Гордон

СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ И ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Современная миграция в европейских странах отнюдь не беспрецедентное явление. Во Франции (на примере которой в первую очередь строится доклад) за два прошлых века наблюдались три волны массовой иммиграции. Общая причина — permanently ухудшавшаяся демографическая ситуация. Двигателем последней волны, начавшейся после Второй мировой войны и усилившейся в 1960—1980-х годах, сделалось сочетание требований форсированной индустриализации и последствий деколонизации.

Так, в отличие от большинства других европейских стран Франция стала страной массового обустройства пришлого населения, общая численность которого за полтора столетия достигает трети населения страны. Это и делает ее историю объектом особого исследовательского интереса в отношении цивилизационных аспектов проблемы миграции. Немаловажный аспект — в отличие от многих европейских стран и несмотря на яростное сопротивление национал-радикалов всех исторических периодов, жаждавших установления «права крови» (оно было признано лишь режимом Виши), Франция живет по традиционному «праву почвы»: родившийся на ее территории становится ее гражданином. Это не оставляет места для юридической дискриминации, и вопросы интеграции перемещаются в социальную и культурную сферы.

Сложности социальной и культурной адаптации -- общая проблема, существовавшая и в ту пору, когда среди трудовых мигрантов преобладали уроженцы европейских стран. Эти сложности приобрели новый качественный характер, воспринимаемый нередко как вызов европейской цивилизации, когда основную массу мигрантов во Франции составили выходцы с мусульманского Востока, уроженцы Магриба. Однако стоит разобраться, в чем суть вызова. Является ли он фундаментально цивилизационным или следует говорить прежде всего о социально-экономических и геополитических факторах культурной коммуникации?

Современная европейская цивилизация — цивилизация постиндустриальных обществ. Постиндустриальный переход разительно сказался на ассимиляции иммигрантов, чем немало объясняется т.н. «парадокс третьего поколения». Форсированность социальной адаптации и культурной ассимиляции первых поколений иммигрантов из Магриба обуславливалась преимущественно трудовой этикой. Малоквалифицированный труд мигрантов был востребован индустриализацией послевоенных десятилетий, и этос социально-экономической востребованности позитивно воздействовал и на самих мигрантов, и на их восприятие во французском социуме.

Напротив, современная экономика высоких технологий нуждается в квалифицированной рабочей силе, которой потомки иммигрантов (в силу ряда причин и в основном из-за некачественного образования) не смогли стать. Сложности их социализации отложились в выявившихся на рубеже веков ретроградных процессах культурной интеграции.

В отличие от двух предыдущих поколений мигрантов, активно стремившихся освоиться на новой родине, воспринять ее культуру, язык, обычаи местного населения, третье поколение

склонно к ностальгии, испытывает или демонстрирует «возврат к корням», проявляя интерес к забытым предкам, обычаям и легендам исторической родины. По существу это уже люди французской культуры, не сумевшие, однако, обрести желаемое положение во французском социуме. Отсюда ощущение глубокой фрустрации, порождающее вандалистские формы протеста, а в культурной сфере при реальном разрыве с этнокультурой заикливание на ее внешних сторонах, вроде женской одежды, которое тоже становится формой протеста по мере того, как власти и общество представляют ее одиозной и даже криминальной.

Для определения перспектив цивилизационной интеграции главное внимание следует обратить на серьезные сдвиги, характерные для эволюции французской культуры в новое и новейшее время. В эпоху Людовика XIV Франция утвердилась страной одной веры – католичества, имевшего статус государственной религии. Революция заменила веру в Бога, Короля, Церковь верой в Республику; в период Третьей республики Франция сделалась страной фундаментального секуляризма с предельно высоким уровнем политической централизации и культурной унификации (ликвидация самобытности исторических регионов, искоренение местных языков и наречий). Политика культурной унификации была распространена и на население колоний посредством католических миссий и школы, арабские, африканские и вьетнамские ученики которой учили «наши предки – галлы».

Драматические события мировых войн и деколонизация сопровождалась во французском обществе острым кризисом национальной идентичности, который подорвал веру в республиканскую модель и привел к вытеснению унифицирующих

культурных стандартов тяготением к мультикультурализму, начинавшегося с признания культурного многообразия страны.

Хотя сам термин французским истеблишментом не принят (из-за ассоциации с расовой дискриминацией) реальная политика во Франции допускает сохранение культурных различий в нации и государстве. Отражая эту тенденцию в последние десятилетия XX в. произошла впечатляющая реанимация культурной самобытности исторических регионов Франции, оживают местные обычаи, верования, языки. Культурный плюрализм создает возможности для сохранения среди иммигрантов обычаев и верований предков.

Между тем встает вопрос о социо-культурной интеграции этого многообразия. Вопрос осложняется с двух сторон. В политической жизни страны сильные позиции занимают сторонники унитаристской модели Третьей республики: существование автономных этно-конфессиональных общин до сих пор носит полуполюгальный характер. Не следует исключать влияние противостоящего обновленческому курсу Ватикана современного интегризма (последователи отлученного от Церкви архиепископа Марсея Лефевра). Крайнюю нетерпимость демонстрируют приверженцы радикального национализма, группирующиеся вокруг Национального фронта, который наращивает свою политическую активность и расширяет социальную базу за счет маргинальных слоев «коренного» населения.

Одновременно и в тесной связи с настроениями носителей традиционной французской культуры фундаменталистские настроения распространяется среди условно говоря «третьего поколения» мигрантов, тех, кто оказался полноправными гражданами Франции и неопитами французской культуры. Кроме проблем социальной адаптации и неприятия со стороны опре-

деленной части французского общества, свою роль — и ее следует признать исключительной — играет внешнеполитический фактор. Это поляризация собственно мусульманского мира и активизация в нем сил политического экстремизма. Именно внешняя экспансия последнего, приобретающая зловещую форму терроризма, и оказывается основанием того, что некорректно называют «столкновением цивилизаций», цивилизационным конфликтом между христианством и исламом.

В противовес имеющей геополитическую природу парадигме межцивилизационного антагонизма желательно рассмотреть парадигму внутрицивилизационного антагонизма -- того что развивается в современную эпоху внутри традиционных цивилизаций культурно-географических ареалов, прежде всего европейского и ближневосточного. Почти все страны Ближнего и Среднего Востока сделали в последние десятилетия очагами террористических актов и военных действий, отражающих не в последнюю очередь глубокое расслоение современного мусульманского мира. О том же со всей очевидностью свидетельствуют и революционные события недавней «арабской весны».

На другой стороне мы видим бурный подъем национал-популизма в Европе и США, который можно трактовать как проявление внутренних противоречий и противоречивой динамики т.н. *модерности (Modernity)*, цивилизации Нового времени с ее мир-системными (называемыми «космополитическими» или «глобалистскими» в зависимости от принятого дискурса) тенденциями. Распространяется контр-Просвещение с возвратом к религиозности и иррационализму, что в немалой степени можно объяснять реакцией на навязывание ценностей Просвещения внутри и за пределами Европейского ареала.

Наступление национализма и иррационализма было отмечено тонкими интеллектуалами еще в начале XX в., получив не точное название «возврат к Средневековью». Фактически подразумевалось, что в критический для культуры период обнажаются ее древние, а то и архаические, восходящие к племенным обществам пласты. Те, кто противопоставляет культурному плюрализму «традиционные европейские ценности», в буквальном смысле правы. Главное уточнить при этом, что имеются в виду традиции культурной исключительности, которые были присущи европейско-христианской цивилизации, как и иным цивилизациям географических ареалов.

В Новое время в Европе произошла историческая бифуркация вселенского масштаба, следствием чего стало формирование Цивилизации Нового времени (*модерности*) с ее отличительной чертой — открытостью времени и пространству. Именно эта открытость и становится базисом для мультикультурализма или, точнее — *культуры многообразия*, не только допускающей существование мультикультурности, но и воспринимающей ее как ценность. Иначе — плодотворность для развития социума и цивилизации в целом существования культурных различий.

Есть ли альтернатива фундаментализму и изоляционистскому национал-популизму? Видимо, это отказ от унитаризма, укрепление *культуры многообразия*. Процесс этот, исключительно сложный из-за столкновения социальных интересов, этнопсихологий и конфессиональных картин мира, подвержен к тому же в огромной мере влиянию геополитических катаклизмов. Однако именно от этого процесса зависит будущее человеческой цивилизации в эпоху невиданной с Великих географических открытий интенсификации межкультурных контактов.

**ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА С «ВОСТОКОМ»
В ИСТОРИОГРАФИИ И ФУТУРОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ»)¹**

«Ренессанс русского консерватизма», постоянно констатируемый в последние годы с различными коннотациями и его прямыми адептами, и многими исследователями [см., напр.: 1, 3, 4, 8], делает актуальным анализ этого направления общественной мысли в контексте наиболее злободневных проблем современности. К последним, несомненно, относится восприятие общественным мнением дихотомии «Восток — Запад», осмысляемой и многими акторами политической сцены, и отчасти массовым сознанием в категориях «военного» противостояния — скрытого или открытого, реально-политического либо ментального. Именно для консервативного восприятия наиболее характерно нивелирование «активных» и «пассивных» форм такого противостояния за счет специфической актуализации принципов «геополитического» или «цивилизационного» подхода. Механика подобной актуализации во многом основывается на методе исторических аналогий, который, однако, сам по себе не дает исчерпывающих оснований для размежевания «консервативных» и «либеральных» взглядов. Историческая аналогия как

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-00390) в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

часть познавательного инструментария не только прочно входит в историю социального знания, но и воспринята в качестве полноценной методологической основы представителями современной политологии, глобалистики и т. д. [см., напр.: 9]. «Законность» исторических аналогий как превалирующего средства аргументации по ряду общественных вопросов не подвергается сомнению и публицистами современных российских СМИ, вне зависимости от их политических предпочтений. Не случайно, например, пассажи о проблеме восточных мигрантов таких популярных авторов, как Ю. Латынина или М. Веллер, прочно укоренившихся в восприятии публики «Эха Москвы» как «либеральные обозреватели», местами трудноотличимы от соответствующих высказываний их идейных противников и столь же насыщены историческими сопоставлениями в алармистском духе.

Для нас актуальна оценка своеобразия именно консервативного подхода к рассматриваемой проблеме, анализ трактовок которой, в свою очередь, может иметь и определенное «обратное» значение для уяснения общей специфики «национально-консервативного» дискурса как такового [ср.: 6, 7]. Продуктивным в связи с этим представляется взаимосопоставление контента, содержащегося в публицистике, прямо акцентирующей собственную принадлежность к национальной консервативной традиции и одновременно развивающей тему войны и мира с условным «Востоком» как в историографическом, так и в футурологическом плане. Такое сочетание предполагает определенное «теоретическое единство» и задает наиболее демонстративный эффект коммуникативного воздействия.

Наиболее подходящим объектом для подобного исследования представляется онлайн-версия периодического «издания

русской консервативной мысли «Золотой лев»» (1998 — 2011), сохраняющая активное присутствие в современной интернет-коммуникации (так, согласно отчету рейтинга сайтов Openstat от 8.09.2016, этот «Журнал консервативной мысли» занимал 7 место в тематическом рейтинге «Политология», между сайтами «Центр современной геополитики» и «Институциональная экономика»; в августе 2016 г. было зафиксировано 6122 просмотра и 4125 посетителей сайта «Золотой лев»). В библиотеке E-library, в свою очередь, зафиксировано 117 ссылок на журнал, правда, представленный на соответствующей странице РИНЦ лишь 1 статьей и минимальной информацией о самом издании, не включенном ни в одну из учитываемых здесь баз данных. Между тем, в интернете на двух сайтах (новая и старая версии) доступны 278 выпусков (преимущественно сдвоенных) «Золотого льва», что позволяет в полном объеме проследить динамику сюжетов, подходов и авторской активности на протяжении 14 лет выхода журнала [см.: 2].

Подчеркнув в первом номере за 1998 г. (М.; Химки: Изд. дом «Грааль») преемственность с выпускавшимся в 1994—1997 гг. вестником Конгресса русских общин «Континент-Россия», редакция позиционировала качественную новизну журнала как надпартийного теоретического издания, принадлежащего «русской идеологии» как таковой, «в основании которой — достижения русской истории, русской философии, русской политической экономики». Помимо вынесения истории в этом перечне на первое место, ее позиция подчеркивалась символическим «историзмом» журнальной эмблемы: «Золотой лев — древний символ, принадлежащий всем народам, связанным с русской цивилизацией», «один из персонажей Библии (пророчества Даниила)», изображение на флаге князя Святослава и на

щитах «русских воинов периода Ледового побоища и Куликовской битвы», элемент герба городов Владимиро-Суздальской земли. В то же время, в качестве «теоретического политического журнала», провозглашалась ориентация на «новый порядок вещей, который в муках рождается Новой русской революцией»: «Русские, которым предстоит вернуть себе Россию, должны как можно быстрее усвоить законы новой эпохи, безжалостные к вялости и слабости» [5]. Соответственно, «взгляд в будущее» периодически занимает свое место на страницах издания.

В этом контексте соотношение имевших место в прошлом, современных или потенциальных конфликтов с «Востоком» включается авторами «Золотого льва» в различные дискурсивные парадигмы, как правило, отсылающие к наследию русской, а также мировой консервативной мысли. При этом, однако, налицо частое несовпадение с такими теоретическими посылами интерпретаций конкретных событий и исторических фактов, демонстрирующее общую высокую степень эклектизма в комплексе рассматриваемых текстов.

Так, например, постулируется разделение ложной «западной» и истинной «восточной» традиции толкования понятия нации (во второй из них — «парного понятию этнос», в трактовке, близкой построениям Л.Н. Гумилева, что позволяет оправдывать идею империи как «идею симфонии культур под управлением национализма стержневого этноса»). При этом другим автором, с сохранением того же общего пафоса, события в Чечне оценивались не как акции терроризма (т. е. «варварского акта самозащиты», подобного отчаянной борьбе палестинцев с Израилем или курдов с Турцией), но как «вайнахский мятеж на этнической почве» при зарубежной поддержке геополитических противников. Подобный мятеж рассматривался как соот-

ветствующий уровню развития «этносов, не являющихся нациями», «народов не исторических». Тем самым, с отсылкой ко временам Кавказской войны XIX в., оправдывались крайние чрезвычайные меры — максимальное использование военной силы, введение военной администрации и даже интернирование «всех вайнахов» на территории РФ.

Пример другого рода — статья М.Калашникова «Четвертая русско-японская?» (2011), создающая неутешительную картину выбора между потенциальной индо-пакистанской войной, инициированной США «Дугой Огня» на Ближнем Востоке («что-то вроде арабских Балкан и Суперкиргизии») и кошмаром применения Японией уроженцев Северного Кавказа для захвата Курильских островов (по аналогии с использованием японской разведкой русских революционеров, «финских и кавказских сепаратистов» в 1905 г.). Альтернатива, в видении автора, — прямое военно-морское столкновение с Японией, в котором «без применения ядерного оружия у РФ почти нет шансов на победу». «Перед новой возможной войной положение РФ на Дальнем Востоке намного хуже, чем у России в 1904-м», — констатирует М. Калашников, предлагая в качестве мер противодействия «“психические” ядерные атаки» («нелетальные» высотные взрывы над Токио и Осакой) или «подводно-москитную войну». Между тем потеря Курил «недопустима с психологической точки зрения, она будет означать потерю остатков самоуважения русских, спровоцирует окончательный распад русских как народа». Редакция журнала, в свою очередь, вводит своим комментарием дополнительную альтернативу, в параллель «войне США против немощной Испании в 1898 году»: высадку Японией на острова «“гуманитарного десанта” тысяч в десять фанатиков,

разумеется, безоружных, но прекрасно владеющих приемами восточных единоборств».

Несмотря на различные формально актуализирующие моменты, многочисленные подобные конструкции авторов «Золотого льва» в своей основе соответствуют как традиционной логике отечественного консервативного дискурса XIX – XX веков, так и сформировавшимся в тот же период центральным принципам ориентализма. Тем самым в значительной степени деавуируется изначально заявлявшееся редакцией журнала программное стремление к концептуальному обновлению наследия русского консерватизма, благодаря которому «русская национальная идеология» должна «приобрести наступательный характер, разорвав круг проблем, кажущийся неразрешимым» [5].

БИБЛИОГРАФИЯ

Введение в проблематику российского консерватизма / Под ред. Ю.Н. Солонина, Н.В. Поляковой. СПб., 2007.

Золотой лев: Издание русской консервативной мысли. — <http://www.zlev.ru/>; <http://www.zlev.ru/index.htm>

Консерватизм в России и Германии: международный диалог // Фонд имени Конрада Аденауэра. — <http://www.kas.de/ru-moskau/ru/events/47042/>

Круглова Н.В. Консервативный Ренессанс // Вопросы культурологии. 2009. № 5.

От редакции // Золотой лев. 1998. № 1-2.

Пономарева М.А. Национальный и либеральный консерватизм в модернизационном проекте новой России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 5.

Тарасов О.И. Консерватизм: проблема терминологической неопределенности // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. Т. 1. №4.

Харламова, Ю.А. Консерватизм как явление русской культуры и современная российская идеология // Вопросы культурологии. 2007. № 1.

Шестова Т.Л. Метод исторических аналогий в глобалистике // Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания. М., 2008.

А.В. ЖИДЧЕНКО

**ГОРОДСКОЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН КАК
ПРИМЕР НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРАКТИК
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ**

В современной ситуации антропологического поворота в гуманитарных науках наблюдается достаточно тесное переплетение усилий ученых различных дисциплин в исследованиях сложных объектов исторического прошлого. Междисциплинарные подходы играют все большую роль в разработке и анализе актуальных научных проблем, требующих интеграции усилий специалистов широкого спектра гуманитарных наук.

В этой связи исследование в области установления роли и места исторического наследия определенной страны в культурно-историческом пространстве города, становится ярким примером синтеза различных направлений научного, в первую очередь гуманитарного знания. В предлагаемой работе мы постараемся описать лишь некоторые аспекты сохранения исторического наследия зарубежных стран и его воплощения в городском культурно-историческом пространстве, как месте сохранения культурной памяти и исторического наследия, а также обосновать возможность рассмотрения данной проблематики как части всемирной истории.

Историко-культурное наследие становится в настоящее время актуальным и достаточно часто используемым понятием.

При этом особую актуальность приобретает не только научное осмысление темы сохранения и популяризации историко-культурного наследия, но и практические шаги в этом направлении в разных странах.

С одной стороны, культурное наследие оказывает немалое воздействие на городскую среду. В честь известных деятелей культуры устанавливаются памятники, именуются площади, их именами называют переулки, улицы и проспекты и даже целые города. Такие примеры достаточно распространены, как на постсоветском пространстве, так и в мире в целом, особенно в странах Европейского Союза.

С другой стороны, определенное воздействие на трансформацию культурной памяти оказала и городская среда, которая также находится в постоянной эволюции. Памятники и памятные места¹, социокультурные координаты играют роль, как в культурной памяти, так и в повседневной жизни людей, а также в их восприятии повседневности и дальнейшей передаче социального опыта. На особенности культурной памяти городская среда влияет, как своей консервативностью (это касается архитектуры, планировки, инфраструктуры), так и своей изменчивостью (перемены в городах стран бывшего социалистического лагеря под влиянием политических факторов и глобализации). Все это играет роль и в повседневной жизни, и в сознании людей, а в конечном счете и в компоненте более высокого уровня, культурно-исторической памяти.

¹ Гриффен Л.А. Теоретические основы памятниковедения. / Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК. К. 2012. 84 с.

Тенденции урбанизации XX века создали условия для того, чтобы города в разных странах мира имели достаточно широкий спектр общих направлений развития. На закреплении в городском пространстве определенных исторических реалий сказывается целый комплекс факторов общественно-политического и социально-экономического развития отдельного государства, его внешнеполитического курса и социокультурной преемственности. Но вместе с тем, конкретный набор практик закрепления в историко-культурном пространстве города исторического и культурного наследия страны, оказывается достаточно тиражируемым, что позволяет выработать условную исследовательскую модель, применимую для почти исчерпывающего числа развивающихся и развитых стран в их всемирно исторической эволюции.

Так, в частности, одной из таких универсальных условных моделей может стать модель изучения интеллигенции в культуре крупного города, разработанной доктором исторических наук, профессором В.Г. Рыженко². Данная модель была апробирована на материалах отечественной истории, региона Западной Сибири, и касалась временного отрезка 1920-х гг. Однако высокий уровень теоретической разработанности подходов позволяет применять эту модель применительно и к городам формировавшимся в этот или другие исторические периоды XX века на Западе. Аналогично универсальный характер имеет также и мо-

² *Рыженко В.Г.* Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. Екатеринбург; Омск, 2003. 332 с.

дель, которая была представлена В.Г. Рыженко и для исследования образа города³.

Одним из ведущих факторов, который позволяет исследовать городское пространство городов независимо от их географической принадлежности в рамках всемирной истории XX века, выступает большой вклад западных авторов в теоретическую разработку данной проблематики. Основываясь на трудах Т. Лукмана, П. Бергера, А. Сикуреля, Г. Гарфинкеля, К. Гирца, Ф. Броделя и др.

Среди исследовательских методов стоит выделить опору на теорию культурно-цивилизационного ландшафта, которая позволяет рассматривать объекты городского культурного пространства (памятники, общественные здания, топонимику) в качестве социокультурных координат, играющих роль в сохранении и закреплении определенной исторической памяти с целью ее сохранения, популяризации и передачи следующему поколению. Помимо данного направления исследование историко-культурного пространства зарубежных стран может быть проведено на стыке таких дисциплин, как: гуманитарная география (Д.И. Замятин), теория культурной памяти (Я. Ассман⁴; Л.П. Репина⁵ и др.) и теории городской культуры⁶ и градостроительства.

³ *Рыженко В.Г.* Образы и символы советского города в современных исследовательских опытах: региональный аспект. Омск, 2010. 340 с.

⁴ *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.

⁵ *Репина Л.П.* Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Круть, 2011. С. 30-34; Репина

Применительно к европейской истории отметим такую ярко выраженную особенность, как наличие огромного пласта средневековой культуры и культуры нового времени в историческом ландшафте. Это выразилось в архитектуре, памятных местах, городской топонимике (названиях улиц, мостов, площадей, каналов и т.д.).

Особенно сильна данная историко-культурная традиция в странах Западной Европы – Франции, Великобритании, Италии, Испании и др. Гораздо большее влияние на городское пространство события XX века оказали в странах Восточной Европы – Польше, Венгрии, ГДР, Болгарии, Румынии, Словакии. Социальные и политические трансформации новейшего времени оказали мощное давление как на само городское пространство в этих странах (особенно в столицах и новых городах, построенных во второй половине XX века), так и на восприятие этого пространства горожанами, их усвоение культурных традиций своего времени.

Достаточно крупный пласт культурно-исторического пространства нового времени в городах США смешивался с последствиями бурного экономического развития страны в XX веке,

Л.П. Память о прошлом и история // Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории / Под общей редакцией Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 7-18.

⁶ Рыженко В.Г., Назимова В.Ш., Алисов Д.А. Пространство советского города (1920-е — 1950-е гг.): теоретические представления, региональные социокультурные и историко-культурологические характеристики (на материалах Западной Сибири) / Отв. Ред. В.Г. Рыженко. Омск, 2004. С. 24.

что также существенно изменило общий социокультурный характер современного городского пространства.

Таким образом, историко-культурное пространство города может претендовать на то, чтобы быть частью одного из новых направлений всемирной истории. Опора на теоретико-методологические основания зарубежных ученых позволяют говорить об универсальности исследовательских моделей, которые могут быть использованы при анализе столь сложных междисциплинарных объектов, отличающихся внутренними особенностями, характерными для каждой из стран.

О.И. ИВОНИНА

ПРОБЛЕМА НЕО-НЕОКОНСЕНСУСА В АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ НОВОГО МИРОПОРЯДКА

Принципиально новый контекст обсуждения пространственно-временных параметров нового миропорядка сформировался в изучении международных отношений на рубеже 80-90-х гг. XX века. Концентрация на небольшом временном отрезке знаковых событий мировой истории (крушение Берлинской стены, распад СССР) определила хронологические рамки «короткого XX века», поместившегося в промежутке между Первой мировой войной (1914-1919) и завершением «холодной войны» (1989-1991). Осмысление итогов недавней истории в ситуации наступившего мира и согласия, придавало дискурсу современного мира нехарактерное для эпохи *fin du siècle* чувство удовлетворенности историей, порождая миллениаристские версии *Модернити как благополучного эпилога мировой истории*.

В дискурсе Нового миропорядка 90-х гг. XX в. преобладали конструктивистские подходы. Упорядоченность мир-системы как устойчивого состояния взаимозависимости всех акторов мировой политики достигается, по мнению Ф. Фукуямы, не стихийной борьбой разнонаправленных национальных интересов и жаждущих признания «идентичностей», а сознательными усилиями по формированию его универсальной правовой основы, эффективность и прогрессистский вектор которой доказаны историческим опытом развития либеральных демократий.

Смещение дискуссий об институционально-нормативной основе Нового миропорядка в область истории мировой политики и международного права способствовало углублению понимания *Современности как глобального проекта*. Присутствие в работах международных категории «глобального» развития свидетельствовало о существенных методологических новациях в изучении современности как переходной эпохи. Важный для историков международных отношений акцент на состоянии *среды системы (Medium)* интерактивного взаимодействия, переформулированный в понятие «глобального контекста» мировой политики, сопровождался изменением языка и семантики исторического нарратива. Наряду с привычными субъектами истории международных отношений в лице государств, национальных движений и международных организаций, торгово-экономических объединений и военно-политических союзов, акторами мировой политики объявлялись неправительственные организации, неформальные объединения, транснациональные корпорации, отдельные регионы, мегаполисы, движения гражданской инициативы и другие внесистемные «множества», оспаривающие исключительное право суверенов формировать глобальную повестку дня.

Изменение состава действующих лиц мировой политики сопровождалось модификацией ее проблематики. Проблемы разоружения и ограничения вооружений, создания систем коллективной безопасности, нераспространения ОМУ – эти и другие вопросы, еще недавно имевшие статус стратегических, оказались вытесненными на периферию глобальной политики. Статус глобальных обрели проблемы противодействия коррупции, нелегальной миграции, наркотрафику и отмыванию нелегальных доходов, обеспечения безопасности международных пасса-

жирских и грузопотоков, сотрудничества в борьбе с эпидемиями и пандемиями, словом все то, что затрагивает в первую очередь интересы частных лиц. Подобную «приватизацию» повестки дня мировой политики связывали со сменой ее главных персонажей, полагая, что место солдата и дипломата на сцене мировой истории занял турист и террорист.

Признание множественности участников глобальной политики, плюрализма отстаиваемых ими интересов и ценностей в системе международного взаимодействия, скорректировало представления авторов теории демократического транзита о траектории развития глобальной цивилизации. Понятие «демократического мира» в работах международных экспертов стало маркером не только современной формы политики, но и новой технологии управления международными процессами – стратегии «вовлечения», предусматривающей добровольное участие в принятии решений по глобальной повестке дня самых разных акторов мировой политики.

Различные модификации концепции «демократического мира», предлагаемые американскими и европейскими авторами в качестве альтернативы теории «баланса сил», «многополярной» или «однополярной» системе мировой политики, выражали понимание *новой природы* интерактивной коммуникации между различными доменами и акторами мировой системы в категориях *«сетевого» взаимодействия*. Конкуренция американского и европейского проектов «глобального миропорядка» отражала изменения как в реальном соотношении сил США и ЕС на мировой арене, так и наметившийся «раскол» Запада в качестве единой альтернативы «иным» коллективным идентичностям Нового мира.

События 11 сентября 2001 года радикально изменили оптику Постмодерна как хронологического и смыслового рубежа в развитии человечества. Это нашло отражение в некрологических оттенках заглавий знаковых публикаций американских международных. «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона, ««поминки по Просвещению» Дж. Грэя, «крах либерализма» Э. Валлерстайна и другие объяснительные доктрины Современности констатировали неадекватность едва ли не всех прежних научных концепций и категорий, будь они политической, социологической или культурной природы, для понимания природы нового миропорядка.

Преодоление парадигмального кризиса привело в конечном счете к сближению двух противоположных направлений исследований международных отношений в лице неореалистов (Г.Киссинджер, Г.Моргентау, С.Хантингтон) и неолибералов (Дж.Кирт, Дж.Гэддис, Дж.Айкенбери, М.Макфол).

Основой так называемого *нео-нео консенсуса* стало общее понимание неолибералами и неореалистами природы глобальных изменений в структуре нового миропорядка и места в нем Соединенных Штатов. Курс «благожелательного гегемона» на борьбу за восстановление мирового порядка со всеми факторами и акторами, угрожающими устойчивости современной мир-системы вызвал целую серию публикаций, призванных обосновать право США на создание *Rex Americana* как *имперского по своей сути проекта*.

Предлагаемые американской политологией сценарии нового миропорядка представляли собою симбиоз традиционных для Америки мотивов силового баланса и многосторонней дипломатии, с одной стороны, и радикального разрыва с доктриной «сдерживания» и нормативной теорией мировой политики – с другой.

Консенсус неоконсерваторов и неолибералов с официальным внешнеполитическим курсом привел к появлению в американском политическом лексиконе множества гибридных аттестаций типа «мускулистого вильсонизма», «консервативного либерализма», «демократической империи», призванных доказать *преемственность универсальных приоритетов глобальной политики США* независимо от партийной принадлежности и идейных предпочтений ее архитекторов.

Стремление политической и интеллектуальной элиты США к делегитимации принципа суверенного равенства государств демонстрировало амбивалентность тех категорий, которые еще недавно казались универсальными константами мира политики – «национальное государство», «признание», «суверенитет». Представители школы Realpolitik считали заслугой идеологии и практики «демократической империи» возрождение централизованной структуры современного мира. Их сценарии миропорядка исходили из признания того, что глобализация не устраняет государства в качестве основных акторов мировой политики, а предъявляет к ним более высокие требования, диктуемые интересами поддержания мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития. «Идеальным типом» государства, вписавшимся в контекст и ритм глобализации, может быть, по их мнению, не подверженное коррупции, экономически состоятельное, вдвойне легитимное (пользующееся доверием собственного населения и мирового сообщества) государство, принимающее сложившийся миропорядок и поддерживающее его своими действиями. Таким образом, новая система международных отношений воспринималась в категориях порядка, т.е. высокой степени управляемости, гарантируемой соблюдением государствами пусть и новых, но вполне определенных правил, а не хаоса беспорядочной игры различных сил на мировой арене.

ЭТНОСИМВОЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИЙ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И НЕЕВРОПЕЙСКИЕ КЕЙСЫ

Этносимволизм представляет собой историко-социологический подход к изучению происхождения наций. Его главная предпосылка заключается в том, что современные национальные сообщества сформировались на основе предшествующих этнических объединений, члены которых обладали общими культурно-историческими характеристиками, такими как мифы, символы и воспоминания, посвященные темам родственного происхождения, совместного прошлого и т.п. Такое этническое сообщество автор концепции Э. Смит называет термином *ethnie*. Мифы, воспоминания, ценности и символы составляли мифосимволические комплексы, служившие источниками возникновения этнической идентичности и этничности, тем самым образуя ядро будущей нации.

Э. Смит выделяет два типа *ethnie* — горизонтальный (или аристократический) и вертикальный (или народный). Для первого характерен династический вариант мифосимволического комплекса. Совокупность мифов и символов определялась правителем и правящим домом, представлявшим доминантную этническую группу, и служил для политической пропаганды и укрепления власти. Народный тип *ethnie* образовался на основе общественного типа мифосимволического комплекса, который относился к рядовым стратам сообщества и являлся источником их солидарности.

Формирование национального сообщества происходило двумя путями в зависимости от того, какая модель *ethnie* ему предшествовала. В случае аристократического (горизонтального) типа имела место культурная инкорпорация или распространение культуры правящих элит на остальное население. Примером служит история средневековой Англии, Франции, Испании, Швеции или России. В этносимволизме этот вариант называется «бюрократическим объединением», что подчеркивает роль государства в процессе превращения этнической культуры правящего меньшинства в культуру большинства поданных. Преобразование *ethnie* в нацию происходило на основе экономической унификации и территориальной централизации, разработки общих для всего населения прав и законов и массовой системы образования. В результате образовался западный (или территориальный) тип нации.

Народный (вертикальный) вариант *ethnie* воплотил механизм «народной мобилизации». Он был свойственен тем этническим сообществам, которые являлись меньшинством в своем государстве и в отсутствии культурной автономии испытывали на себе давление доминирующей группы. В этом случае интеллектуальные элиты, отстаивавшие свою культурно-историческую самобытность, стремились привлечь в качестве поддержки народ в целом, прежде всего крестьянство. Для этого предпринимались активные попытки возродить народную культуру и родной язык посредством обращения к истории, археологии, филологии и т.п. Нации Центральной и Восточной Европы, а также Среднего Востока пошли по данному пути развития, формировались на основе общности культуры и этнических традиций и образовали восточный (или собственно этнический) тип национального сообщества.

В обоих случаях нациеформирования его агентами являлись правящие и/или интеллектуальные элиты. Сама национальная идея возникла в Западной Европе в условиях «тройственной революции», включавшей в себя экономическую, административную и культурную. В результате утвердился буржуазный тип общества. Влияние прежних правящих династий и аристократии стало отодвигаться на второй план, так как новая социальная сила — буржуазия или «третье сословие» — начала заявлять о желании укрепить свои позиции. Центральный и Восточный регионы испытали воздействие тройственной революции позднее, и зачастую им приходилось делать выбор — усиливать свои исконные традиции и ценности в оппозиции западному влиянию, перенять западную модель и ассимилироваться или попытаться найти компромисс между двумя первыми вариантами.

Для исследователей в целом характерно деление Европы на западную и восточную части с присущими им особенностями культурно-исторического развития, что, как известно, нашло выражение в устоявшемся разделении наций на соответствующие типы. Э. Смит также использует данный принцип, отмечая одновременно, что в целом в Европе идеи нации и национализма родились в среднем классе. Именно его представители занимались их популяризацией, но именно через колониальный аппарат западноевропейских держав идеи национальной идентичности и национализма распространились в Азию и Африку.

Наряду с западным и восточным вариантами формирования наций Э. Смит выделяет еще один путь, который является характерным для Соединенных Штатов Америки, Канады и Австралии, и называет его колониально-иммигрантским. В подобных случаях этнический культурный плюрализм подвергался

преобразованию в рамках складывания политической, правовой и языковой идентичности, однако моделью здесь также выступил западный гражданско-территориальный вариант, заимствованный из метрополии. Латинская Америка тоже идет по пути образования иммигрантских сообществ на основе слияния местного или приезжего населения.

На африканском континенте формирование наций происходило на основе местных культурных различий, уходящих корнями в глубокую древность, но под влиянием Романтизма, так как носителями идеи являлись представители интеллигенции, получившие европейское образование. Э. Смит отмечает, что процесс нациеформирования здесь начался в XX в. и продолжается по настоящее время, что делает регион источником примеров строительства или конструирования наций по инициативе и под контролем элит. Ситуация, сложившаяся в Азии, отличается тем, что пестрота этнического состава региона меньше, и основой для многих современных наций, например, в Шри-Ланке, Бирме или Вьетнаме, служили оформившиеся в досовременную эпоху этнические сообщества.

В 2007 г. под редакцией А. Леусси и С. Гросби был опубликован сборник статей «Национализм и этносимволизм. История, культура и этничность в формировании наций», целью которого было, во-первых, определить место концепции в поле *nationalism studies*, во-вторых, представить применимость подхода на примере ряда кейсов. Представленные публикации отражают результаты и оценки использования этносимволистского подхода как методологической основы при изучении формирования национальных идентичностей в Европе и России, на Среднем Востоке, Дальнем Востоке и Индии, в Африке, Северной и Южной Америке.

Неевропейские кейсы представляют собой попытки применения отдельных элементов этносимволистской концепции, но не модели в целом. Среди вопросов, которых они касаются, можно выделить проблемы разнородности символических комплексов, обусловленной, в том числе, религиозным плюрализмом (пример Нигерии), феномена репрезентации нации (история тюрков или индийцев), сохранения культурного своеобразия (случаи Китая, Тайваня, африканеров или коренного населения Южной Америки). При исследовании складывания национальной идентичности внимание сосредоточено на анализе тех компонентов, которые способствуют формированию общего сознания и служат его поддержанию.

Этносимволистская модель образования наций является результатом теоретического осмысления европейского исторического опыта. Разделение наций на западный и восточный типы также имеет европоцентричный характер, а распространение идеи национальной идентичности за пределами Европы представлено как перенимание западноевропейского образца. Вместе с тем Э. Смит, подчеркивая, что этносимволизм является не теорией, а подходом, служащим прикладному исследованию образования наций в мире, претендует на признание универсальности концепции.

А.А.ЛИНЧЕНКО

ГЛОБАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ¹

Несмотря на активное развитие и широкую популярность глобальной истории, не утихают споры вокруг ее предмета и методов, места и статуса в структуре социально-гуманитарного знания. Причины этого видятся исследователям в проблематичности самого феномена глобализации, в противоречиях употребления терминов «глобальная история»/«всемирная история»/«всеобщая история». Отдельным вопросом при этом оказываются теоретико-методологические проблемы глобальной истории, среди которых взаимоотношение глобальной истории и философии истории занимает далеко не последнее место. В одном из своих интервью Хейден Уайт заметил, что «постнациональная эра настоятельно требует от историков поторопиться с теорией «глобальной истории <...> однако, если б кто-нибудь захотел преодолеть границы национальных историографий, то он должен был бы предложить новую философию истории. И это было бы фатальным. Историки склонны думать, что философия истории – это ошибка» [1, С.345]. И действительно дальнейшее осмысление новых тенденций в изучении глобальной истории предполагает определенный взгляд на ее философско-мировоззренческие основания. Однако, необходимы ли они глобальной истории? В каком отношении находятся сегодня

¹ Подготовлено при поддержке гранта РГНФ, проект 15-33-01003 «Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности».

глобальная история и философия истории? Должна ли вообще глобальная история в ее современном понимании иметь свою философию истории? Чем могли бы быть полезны сегодня друг другу глобальная история и философия истории?

Современные исследователи трактуют глобальную историю как «попытку на новом теоретическом уровне вернуться от микроисторической оптики к масштабному, интегрирующему взгляду на историю, охватить человечество как некую структуру в историческом развитии взаимосвязей отдельных частей <...> она может быть понята и как осмысление процесса мировой интеграции, исторического движения к более взаимосвязанному мировому порядку и объединенной мировой культуре <...> предмет глобальной истории – именно взаимосвязи, экономические, политические и культурные, между различными странами и цивилизациями» [2, С.219]. Также подчеркивается, что глобальная история – это «больше, чем сумма частных историй». При этом, отмечается, что «современное понимание глобальной истории вовсе не исключает, оно – напротив – подразумевает наличие множества локальных вариантов и траекторий развития и далеко ушло от линейных и европоцентристских в своей основе обобщающих схем в духе христианского универсализма, историософских схем «всемирной истории» и классических модернизационных теорий» [2, С.221]. Наконец, о глобальной истории пишут следующее: «глобальная история направлена не на познание некоторых общих принципов или смысла истории, а на *описание событий и сравнительный анализ процессов*» [3, С.80]. Итак, как видится, глобальная история является самостоятельным направлением исследований, на первый взгляд не пересекающимся с проблемами философии истории, и более того, она представляется более адекватной современным мировым

тенденциям, нежели классическая универалистская философия истории. Вопрос, таким образом, должен быть адресован прежде всего самой философии истории.

Современный взгляд на философию истории не позволяет говорить об однозначном ее понимании. С одной стороны, в зарубежной философии истории давно уже сложилась вполне устоявшаяся традиция, отрицающая наличие неких определенных метафизических оснований философии истории и критически воспринимающая всякую онтологическую (или субстантивную) философию истории. С другой стороны, философия истории в XXI веке существенно расширила круг своих интересов. Так, традиционные вопросы аналитической, герменевтической и нарративной философии истории на Западе оказались дополнены темами политического присвоения прошлого, проблематика исторических коммемораций, медийный дискурс об истории, проблемы коллективной памяти и идентичности, национальные образы времени и исторического опыта, этическое измерение истории. Вместе с тем, в современной зарубежной литературе неоднократно предпринимались попытки «реабилитации философии истории», понятой как этическая установка относительно хода и содержания исторического процесса (К. Ролдán), как набор различных метатеорий, только несколько из которых (гегелевская, марксистская, теория локальных цивилизаций) подверглись существенной критике (Г. Нагл-Досекал), как «философия истории среднего масштаба», сопоставимая с философией техники (И. Робек). Преодоление кризисной ситуации современным авторам видится в анализе тех теоретических предпосылок, с которых вообще возможно говорить сегодня о философии истории в целом. По мысли Ю.В. Перова, само собой разумеется, что подобная философия истории вряд ли будет мо-

нистичной. Обсуждая некие «метафизические» предпосылки современной философии истории, петербургский исследователь указывал на три фундаментальных аспекта: идею «универсальной историчности», трактовку «бытия-как-истории» и понимание истории как самоинтерпретирующейся реальности [4, С.81]. По его мысли, идея универсальной историчности есть, прежде всего, признание в европейской философской мысли истории как абсолютной полноты бытия. Идея универсальной историчности может быть отнесена только к сфере «бытийного ряда», что открывает нам доступ к другому понятию «бытия-как-истории». Историческое сущее – это «все, что существует и происходит в истории: исторические обстоятельства и процессы, «факты» и события, люди, их поступки, объективации, культурные формы и социальные связи – все возникающее и исчезающее, конечное, переходящее» [4, 19]. Историческое бытие – это то, в чем это историческое сущее есть, необходимое условие самой возможности существования всякого исторического сущего. Историчность в таком случае есть понятие, отсылающее больше к историческому бытию, чем к историческому сущему, поскольку она характеризует способ существования исторического сущего, способность быть историческим. С подобной онтологической точки зрения, «исторический процесс есть непрерывный процесс воспроизводства общественной жизни человечества в ее целостности, всех этих ее собственных внутренних «моментов», а, следовательно, и во всем многообразии ее существенных, во всяком случае, функционально необходимых «сфер», «подсистем», «практик», «измерений» и пр. и соответственно – социальных качеств индивидов и групп. На основе этой предпосылки может и должно разворачиваться сопоставление разных проекций и моделей общественной реальности в комплексе социальных наук, уяснение исторически вариатив-

ных, динамичных механизмов и способов взаимной детерминации и взаимодействия видов общественной жизнедеятельности людей по воспроизводству ими собственной общественной жизни» [4, С.58]. Признание бытийной самостоятельности истории и идея универсальной историчности создают предпосылки для постижения исторической жизни в качестве самоистолковывающейся, самоинтерпретирующейся реальности, атрибутом которой оказывается историческое сознание. При этом Ю.В. Перов отмечает, что «рассчитывать на обретение (хотя бы в будущем) универсального и безусловного, окончательно постигнутого на веки смысла истории, оснований нет. Смыслы истории <...> конструируются внутри истории ею самой, и сами историчны» [4, С.79]. Он также писал, что «трактовка фундаментальной «историчности» человеческого существования в экзистенциальной традиции фиксировала, что человек не только в качестве «исторического деятеля», но и в повседневной жизни через «проект самого себя» и его осуществление (в терминах Сартра) всегда выходит за рамки наличной данности существования, «трансцендирует» в отношении своего наличного бытия в проектируемое будущее» [4, С.77].

Как видно, доминирующий мотив современной философии истории является предельно антропологическим. Ключом к пониманию смысла истории оказывается сам человек, его состояния, развитие, эволюция и перспективы. Именно с антропологической перспективы, на наш взгляд, возможно продуктивное взаимодействие философии истории и глобальной истории, выстраивание их диалога и взаимодействия. Антропологический контекст взаимодействия глобальной истории и философии истории оказывается более продуктивным в условиях когда другие контексты (онтологический, гносеологический) представляются проблематичными в силу противоречивости современных представле-

ний об историческом бытии, о познаваемости прошлого, о способах соотношения методологий исторического анализа. Философия истории оказывается особой наукой, включая в себя антропологию, аксиологию и этику. В случае антропологического контекста – задача философии истории – на основе богатейшего материала глобальной истории выработать новую этику истории и идею нового человека, новые формы гуманизма, в условиях глобальных взаимодействий различных проявлений человеческой культуры. Это в свою очередь позволит глобальной истории стать наукой о соотношении прошлого, настоящего и будущего, поскольку глобальная история не может не предполагать субъекта, обладающего потенциальной способностью к глобальному историческому самосознанию и, самое главное, к ответственности в глобальном мире. Таким образом, соотношение философии истории и глобальной истории не вертикальное и иерархическое, а горизонтальное. Открывая новые контексты глобальной истории взаимодействий человек призван совершенствовать сегодня свои этико-мировоззренческие способности, способность к целостному историческому сознанию.

БИБЛИОГРАФИЯ

Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2000.

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. М.: Кругъ, 2011.

Ким О.В., Маловичко С.И. Глобальная история // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. акад. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014.

Перов Ю.В. Историчность и историческая реальность. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2000.

М.А. Липкин

"ИСТОРИОЕВРОПЕИЗАЦИЯ": ТРАНС- НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ИСТО- РИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОПЫТ КОРПОРА- ТИВНОЙ ИСТОРИИ ЕС*

12 октября 2012 года Председатель Нобелевского комитета, мира бывший премьер-министр Норвегии и председатель Совета Европы Турбьерн Ягланд, присудил Европейскому Союзу Нобелевскую премию мира с формулировкой за вклад в объединение Европы и превращению ее из «континента войны в континент мира». Центральным моментом в этом проекте по примирению исторических противников стало сближение Франции и Германии – ключевых стран Центральной Европы, которые на протяжении 70 лет (до 1945 г.) пережили три войны. Ситуация, когда престижная премия достается не какой-то выдающейся личности или главе государства, а международной организации — не самая уникальная в истории нобелевских премий, однако ЕС несколько больше чем просто международная организация, это наднациональное объединение стран, по сути супергосударство, и не за горами ситуация, когда премию за лучшую историческую работу по всемирной истории (например, учрежденную на конгрессе МКИН в Цзинане в 2015 г.) получит не историк, а Европейский Союз или его структуры.

* Доклад и тезисы подготовлены в рамках исследовательского проекта РГНФ № 14-01-00370 «XX век в современной исторической науке: актуальные проблемы периодизации и структурирования всемирной истории».

В последнее десятилетие наблюдается рост интереса к корпоративной истории ОПЕК, ЮНЕСКО и других многосторонних организаций, которые объявляют конкурсы на написание собственных историй и «вписывание» собственных историй в глобальную историю XX столетия. Применительно к истории ЕС, эта попытка выходит далеко за рамки XX века и претендует на новую интерпретацию истории всего континента, включая Россию и другие сопредельные страны. Она отвечает представлениям о третьей, «культурной» волне европейской интеграции (после первой – экономической и второй – политической). Качественным изменением является тот факт, что речь идет не просто об «истории европейской интеграции» – истории послевоенных интеграционных объединений, первоначально чисто западноевропейских. Речь идет об общеевропейском нарративе, построенном на принципах «интернациональной» истории, т.е. истории вне рамок национальных историографических школ с акцентом на историю идей, демографических и социальных трендов, культурных трансферов и т.д. Одновременно речь идет о ревизии хронологического и тематического подхода к истории «Европы» и о новой исторической политике в интерпретации ключевых сюжетов наиболее сложного и близкого нам XX столетия.

В последние десятилетия появление новых направлений в исторической науке привело к разным хронологическим взглядам на периодизацию 20 века у профессиональных историков. Так историки науки и техники, изучая связанность континента по развитию телеграфных линий и иных способов радио- и телекоммуникаций начинают историю «европейской интеграции» с конца XIX столетия. Интересно, что исследование, скажем, развития европейской сети железных дорог в конце XIX столетия говорит о гораздо большей степени интеграции европейского пространства, чем во второй половине 20 века, когда появи-

лись новые национальные границы и шел процесс развития протекционизма. Историки-международники ведут свой отсчет от традиционных границ мировых войн и базовых соглашений (Версальско-вашингтонский миропорядок, Ялтинская система и т.д.), Экономисты выделяют свои циклы – подпериоды, свойственные, впрочем, глобальной капиталистической системе и не всегда согласующиеся с развитием «мировой системы социализма» (например, «славное тридцатилетие» 1946-1975 гг.). Некоторые крупные историки – такие, как Эрик Хобсбаум, выделяли в рамках столетия социально-культурные периоды «века катастроф» (1914-1945 гг.) и «века процветания» (вторая половина 1940-х – начало 1970-х годов), во многом совпадающих с экономическими циклами.

На фоне разных периодизаций XX столетия представителями разных исторических специализированных дисциплин в 2000-е годы с особой точкой зрения выходит проект собственной истории Европейского Союза.

Процесс формирования корпоративной истории ЕС подробно разбирается в магистерской диссертации испанского историка Педро Коррео Мартин Арройо, ему же принадлежит авторство специально обозначающего это явление термина «историевропеизация»¹. Интересно, что процесс идет как «сверху» (через специализированные программы и гранты различных официальных структур ЕС – например, программу Евроклио, высшие учебные заведения как Европейский Институт-

¹ Липкин М.А. В борьбе за «европейское историческое сознание»: может ли новая наднациональная история Европы научить бесконфликтному прочтению общей истории? // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2015. Т.6. Вып. 11 (44) URL: <http://history.jes.su/s207987840001373-9-4>

университет во Флоренции, Европейский колледж, проект Дома европейской истории и т.д.), так и «снизу» – через спорадические дебаты и публикации как отдельных независимых представителей академического сообщества, так и сетевых объединений историков, работающих, как правило, в области изучения европейской истории и идентичности.

По сути, выстраивая свою «корпоративную» историю, ЕС сталкивается с той же проблемой, с какой сталкиваются относительно молодые национальные государства. Речь идет о поиске общих «мест памяти», разработке ключевых исторических дат и событий (в первую очередь – общих праздников), вокруг которых строится культурно-историческая общность граждан ЕС. Как показывает Педро Арройо, для второй половины 20 века такими ключевыми датами «общеевропейской истории» в историографии и общественно-политическом дискурсе становятся 1945 и 1989 годы. При этом дата 1945 года связана с периодом не 1939-1945 гг., а того, что в работах европейских историков-интернационалистов получило название «европейской гражданской войны» - 1914-1945 гг. Это трактовка исключает выделение отдельно Первой мировой войны и межвоенного периода. Она позволяет преодолеть принципиальные разногласия между национальными историческими школами, скажем, французов и немцев, и благодаря более широкому фокусу, позволяет характеризовать этот период общеевропейской истории как глобальную борьбу двух полюсов: ультралевых и ультраправых, приведшей к деградации демократических институтов и ценностей практически во всех странах континента. Наиболее яркими выражениями этого радикального противостояния стали Революция и Гражданская война в России, Гражданская война в Испании и, в итоге, начавшийся в сердце Европы глобальный конфликт – тотальная Вторая мировая война.

Важно отметить, что «историевропеизация» наиболее успешно развивается не в форме единых школьных учебников (попытки потерпели провал – каждая страна вносила свои национальные коррективы) и какого-то единого общепризнанного нарратива², а в форме различных музейных проектов. Среди них лидером по дороговизне и срокам создания стал Дом европейской истории в Брюсселе, сроки открытия которого переносятся вот уже несколько лет. Проект был начат в 2007 году по решению Европарламента и находится на завершающей стадии. Однако его реализация встречает жесткую критику со стороны академических сообществ ряда стран, в первую очередь британских историков — лидеров в области глобальной истории. Неожиданная победа сторонников Брекзита в 2016 году в Великобритании — подтверждение того, что социокультурные аспекты, в том числе трактовка истории XX столетия и предшествующих периодов, несмотря на развитие технологий и коммуникаций, способны оказывать решающее воздействие на политический и экономический выбор крупных стран ЕС и даже приводить к выходу стран из этого надгосударственного образования в знак несогласия с навязыванием корпоративных политкорректных трактовок истории XX века.

² Пожалуй, наиболее близок к такому нарративу труд Нормана Дэвиса, где первая половина XX века дана именно в такой трактовке - См: Дэвис Н. История Европы. М.: АСТ. 2005.

Е.С. ЛЮБОМИРОВА

**АМЕРИКАНИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ,
ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ?
КУЛЬТУРНЫЙ ТРАНСФЕР США – ФРГ
И ЕГО ОСМЫСЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

В докладе рассматриваются новые тенденции немецкой историографии по осмыслению феномена американизации, который был замечен в Германии на протяжении всего 20 века, но наиболее ярко проявил себя в ранней ФРГ. В то время как в американском и российском общественном и научном дискурсах последних десятилетий прочно утвердилась трактовка американизации ФРГ как классического примера успешного проведения политики «мягкой силы»¹, которая целенаправленно осуществлялась властями «сверху», став осознанным инструментом культурной дипломатии и неотъемлемой частью идеологической

¹ Термин «мягкая сила» был подробно разработан американским политологом Джозефом Найем. Он считал, что мягкое государственное воздействие через трансфер языковых и культурных ценностей имеет больше шансов на успех, чем применение жёсткого (военного или финансового) давления. Схожей по смыслу идеей является концепция культурно-идеологической гегемонии, описанная Антонио Грамши в его «Тюремных тетрадах» в 1930-40-е гг. Подробнее см.: Най Дж. С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. Новосибирск – Москва, 2006.

пропаганды в условиях Холодной войны², в немецкой исторической науке, несмотря на обилие работ на тему культурного влияния США на ФРГ вообще и на немецкую молодёжь в частности, до сих пор остаётся дискуссионным как само понятие «американизации», так и вопрос о её путях и характере.

В широком смысле под американизацией понимается трансфер и последующая адаптация политических, экономических и культурных ценностей США, способствующих ориентации «принимающей» страны на американскую модель развития; в узком смысле речь идёт, как правило, о чисто культурном трансфере и об усвоении обществом-реципиентом элементов американского образа жизни³. При этом подчёркивается, что усваиваемые нормы, ценности, обычаи и традиции, символы, образцы поведения, особенности стиля и проч. вовсе не обязательно должны были действительно происходить из США. Главное, чтобы они воспринимались принимающей стороной как типично американские⁴. В качестве наиболее яркого примера такого восприятия приводится отождествление понятий

² *Poiger, Uta G. Rock'n`Roll, Kalter Krieg und deutsche Identität // Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt am Main, New York, 1997. S.275-289; Филимонов Г.Ю. «Мягкая сила» культурной дипломатии США. М., 2010. С.60.*

³ *Reese-Schäfer, Walter. Das Paradigma der Amerikanisierung und die politische Kultur der Bundesrepublik // Demokratie und Politik in der Bundesrepublik 1949 – 1999. Opladen, 2001. S.63-64.*

⁴ *Döring-Manteuffel, Anselm. Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1999. S.11.*

«американский» и «молодёжный» в отношении молодёжной культуры Западной Германии в 1950-е – 1960-е гг.

Немецкие историки выделяют следующие стадии американизации: первая пришлась на конец XIX века, вторая – на 1920-е годы, третья и самая масштабная – на 1950-е – 1960-е годы. Что же касается их путей и характера, то различают официальную и неформальную американизацию. Первая находилась под непосредственным контролем властей США, вторая осуществлялась спонтанно в основном через музыку, кино, литературу и СМИ⁵. При этом наиболее активно изучается третья стадия неформальной американизации. Она рассматривается в качестве прямого следствия «экономического чуда», которое послужило благоприятной почвой для распространения и утверждения новых ценностей в широких слоях населения. Американизация «снизу» носила бесконтрольный и «дикий» характер, поскольку культура США была сама по себе настолько привлекательна, что её влияние было невозможно игнорировать⁶.

В современной немецкой историографии исследователи не ограничиваются рассмотрением американизации ФРГ «сверху» и/или «снизу» и вписывают её в более широкий контекст таких экономических и общественно-политических процессов как интернационализация, вестернизация и модернизация. Так, при обращении к категориям «американизация – интернационали-

⁵ *Schildt, Axel*. Sind die Westdeutschen amerikanisiert worden? Zur zeitgeschichtlichen Erforschung kulturellen Transfers und seiner gesellschaftlichen Folgen nach dem Zweiten Weltkrieg // *Aus Politik und Zeitgeschichte*, № 50/2000. S.3–10.

⁶ *Maase, Kaspar*. BRAVO Amerika. Erkundungen zur Jugendkultur der BRD in den 50er Jahren. Hamburg, 1992.

зация» речь идёт не столько об эволюции массового сознания, насаждении идеологии потребления в обществе «всеобщего благоденствия» и об изменениях, происходивших в экономике ФРГ в условиях глобализации⁷, сколько об общемировой тенденции к постепенному стиранию национальных и культурных различий, которая в свою очередь может привести к «макдональдизации» немецкого общества и наступлению американизированного массового человека⁸. А при изучении категории «американизация – модернизация» в центре внимания оказывается старый спор о соотношении в политической, социальной и культурной жизни ФРГ новых начал и черт преемственности с эпохой Веймарской республики⁹.

Немалое значение американизации ФРГ уделяется и в контексте другого общественно-политического процесса – вестер-

⁷ *Schildt, Axel. Amerikanische Einflüsse auf die westdeutsche Konsumententwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg // Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890 – 1990. Frankfurt am Main, 2009. S.435-447; Becker, Franz. Amerikabild und „Amerikanisierung“ im Deutschland des 20. Jahrhunderts // Becker Franz, Reinhardt-Becker Elke. Mythos USA. „Amerikanisierung“ in Deutschland seit 1900. Frankfurt am Main, New York, 2006. S.19-47; Hilger, Susanne. Amerikanisierung der europäischen Wirtschaft nach 1880 // European History Online. Mainz, 2012. URL: <http://www.ieg-ego.eu/hilgers-2012-de> (Zugriff: 09.09.2016).*

⁸ *Maase, Kaspar. „Amerikanisierung der Gesellschaft?“ // Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt am Main, New York, 1997. S.219-238.*

⁹ *Schildt, Axel. Zur so genannten Amerikanisierung in der frühen Bundesrepublik – einige Differenzierungen // Modernisierung als Amerikanisierung? Entwicklung der westdeutschen Kultur 1945 – 1960. Bielefeld, 2007. S.23-24.*

низации или «долгого пути на Запад». В доказательство тесной связи американизации и вестернизации приводится тезис о том, что из-за конфронтации двух систем в условиях начинающейся Холодной войны западные союзники (главным образом – американская оккупационная администрация) предприняли немалые усилия, чтобы заставить Германию отказаться от своего «особого пути» и затем с помощью целенаправленного насаждения демократических структур и трансфера американской массовой культуры ментально и политически интегрировать её в западноевропейское сообщество¹⁰.

Таким образом, понятие «американизации» активно изучается не только в традиционном ключе как культурный трансфер США – ФРГ, но и рассматривается в контексте важнейших общественно-политических процессов второй половины 20 века, что открывает новые возможности для его трактовки и дифференциации.

БИБЛИОГРАФИЯ

Най Дж. С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. Новосибирск – Москва, 2006.

Филимонов Г.Ю. «Мягкая сила» культурной дипломатии США. М., 2010.

¹⁰ Koch Lars, Tallafuss Petra. Modernisierung als Amerikanisierung? Anmerkungen zur diskursiven Dynamik einer Analysekatgorie // Modernisierung als Amerikanisierung? Entwicklung der westdeutschen Kultur 1945 – 1960. Bielefeld, 2007. S.10; Maase, Kaspar. Massenkultur, Demokratie und verordnete Verwestlichung. Bundesdeutsche und amerikanische Kulturdiagnosen der 1950er Jahre // Ibid. S.277-318.

Becker, Franz. Amerikabild und „Amerikanisierung“ im Deutschland des 20. Jahrhunderts // Becker Franz, Reinhardt-Becker Elke. Mythos USA. „Amerikanisierung“ in Deutschland seit 1900. Frankfurt am Main, New York, 2006. S.19-47.

Döring-Manteuffel, Anselm. Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1999.

Hilger, Susanne. Amerikanisierung der europäischen Wirtschaft nach 1880 // European History Online. Mainz, 2012. URL: <http://www.ieg-ego.eu/hilgers-2012-de> (Zugriff: 09.09.2016).

Koch Lars, Tallafuss Petra. Modernisierung als Amerikanisierung? Anmerkungen zur diskursiven Dynamik einer Analysekategorie // Modernisierung als Amerikanisierung? Entwicklung der westdeutschen Kultur 1945 – 1960. Bielefeld, 2007. S.9-22.

Maase, Kaspar. „Amerikanisierung der Gesellschaft?“ // Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt am Main, New York, 1997. S.219-241.

Maase, Kaspar. BRAVO Amerika. Erkundungen zur Jugendkultur der BRD in den 50er Jahren. Hamburg, 1992.

Maase, Kaspar. Massenkultur, Demokratie und verordnete Verwestlichung. Bundesdeutsche und amerikanische Kulturdiagnosen der 1950er Jahre // Modernisierung als Amerikanisierung? Entwicklung der westdeutschen Kultur 1945 – 1960. Bielefeld, 2007. S.277-318.

Poiger, Uta G. Rock`n`Roll, Kalter Krieg und deutsche Identität // Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970. Frankfurt am Main, New York, 1997. S.275-289.

Reese-Schäfer, Walter. Das Paradigma der Amerikanisierung und die politische Kultur der Bundesrepublik // Demokratie und Politik in der Bundesrepublik 1949 – 1999. Opladen, 2001. S.63-83.

Schildt, Axel. Amerikanische Einflüsse auf die westdeutsche Konsumententwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg // Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890 – 1990. Frankfurt am Main, 2009. S.435-447.

Schildt, Axel. Sind die Westdeutschen amerikanisiert worden? Zur zeitgeschichtlichen Erforschung kulturellen Transfers und seiner gesellschaftlichen Folgen nach dem Zweiten Weltkrieg // Aus Politik und Zeitgeschichte, № 50/2000. S.3–10.

Schildt, Axel. Zur so genannten Amerikanisierung in der frühen Bundesrepublik – einige Differenzierungen // Modernisierung als Amerikanisierung? Entwicklung der westdeutschen Kultur 1945 – 1960. Bielefeld, 2007. S.23-44.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В «ДОЛГОМ XIX ВЕКЕ»*

С точки зрения демографического развития в XIX веке стоит отметить две взаимосвязанные тенденции: во-первых, сложный многоэтапный процесс снижения уровня рождаемости и роста средней продолжительности жизни; во-вторых, рост географической мобильности населения, который нашел свое отражение, как в усилении урбанизации, так и в росте трансконтинентальных миграций.

Значительное увеличение миграционной активности населения стран, вставших на путь индустриализации, в первую очередь, европейцев стало следствием демографического роста, аграрной революции и глобализации. Формирование национальных государств в Европе осложняло положение меньшинств и стимулировало их к эмиграции, когда за океаном открывались рынки труда. Эмиграцию облегчали улучшавшиеся возможности коммуникации, позволявшие поддерживать контакты со старой родиной.

Быстрое развитие транспортных коммуникаций сделало путешествия на большие расстояния значительно доступней. Если в 1800 г. путешествие из Англии в Америку занимало около 6 недель, то к 1905 г. то же самое расстояние корабли преодолевали менее, чем за две недели, а дешевый билет на пароход мож-

* Доклад и тезисы подготовлены в рамках исследовательского проекта РГНФ № 14-01-00370 «XX век в современной исторической науке: актуальные проблемы периодизации и структурирования всемирной истории».

но было приобрести за 12 долларов.¹ Дополнительным важным условием бурного роста эмиграции было довольно либеральное иммиграционное законодательство.

Такое сочетание факторов привело к колоссальному росту эмиграции из Европы: всего в период с начала XIX века и до 1918 г. Старый Свет покинуло около 50 миллионов человек. Это в несколько раз больше, чем вся эмиграция XV-XVIII вв. Эмиграция в этих условиях играла роль клапана, позволявшего выпустить лишний пар. Уже в середине XIX в. она приобрела массовый характер в странах Западной Европы, где граждане пользовались правом свободного выбора места жительства вплоть до отъезда за границу. В течение 90 лет после 1840 г. Британские острова покинули 18 млн. человек, Италию – 11,1 млн. человек, Испанию и Португалию – 6,5 млн., Австро-Венгрию – 5,2 млн., Германские государства, а затем объединенную Германию – 4,9 млн., Швецию и Норвегию – 2,1 млн.² Однако в странах с авторитарными режимами эффективность эмиграции как регулятора социальной напряженности была существенно ниже.

Основной поток европейской эмиграции направлялся за океан – в Америку, главным образом в США, которые вплоть до начала XX века принимали иммигрантов из европейских стран без ограничений; а также Аргентину, Канаду, Уругвай, Бразилию, Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку.³

¹ Всемирная история в шести томах. Том 5. Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации / Отв. ред. В.С. Мирзеханов. М.: Наука, 2014.-С.67.

² Всемирная история в шести томах. Том 5. Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации / Отв. ред. В.С. Мирзеханов. М.: Наука, 2014. С.67.

³ *Livi-Bacci M. A Short History of Migration. Cambridge, 2012. P. 53.*

Наивысшего пика европейская эмиграция достигла в 1900-1915 гг. В этот период каждый год от одного до полутора миллионов человек отправлялись за океан. Этот мощный эмиграционный поток был остановлен лишь Первой мировой войной и последовавшим за ней ужесточением иммиграционного законодательства США.

В последнюю четверть XIX века происходит серьезное изменение этнического состава эмиграции в Новый Свет, с 1820-х до середины 1880-х гг. основу переселенцев составляли выходцы из стран Северо-Западной Европы: с Британских островов, из германских и скандинавских государств – так называемая «старая эмиграция», однако в последней трети «долгого» XIX века их начинают численно превосходить эмигранты из стран Средиземноморья, в первую очередь, Италии, Балканского полуострова и Восточной Европы, они составили основу «новой эмиграции».⁴

Вопросы о характере влияния великой европейской эмиграции на благосостояние обществ Старого и Нового Света до сих пор остаются открытыми.

Наплыв иммигрантов помогал хозяйственному освоению, а в перспективе – и экономическому подъему стран Америки, Океании и Южной Африки,. Со временем некоторые из них, прежде всего США, Аргентина и Канада, преодолели зависимость от Европы и превратились в ее грозных конкурентов как на мировом, так и на ее внутреннем рынке. Самый затяжной экономический кризис XIX в. – «великая депрессия» 80-х годов

⁴ *Kirk D. Europe's Population in the Interwar Years. Princeton: League of Nations, 1946. P. 279.*

– был связан с экспансией на европейские рынки дешевой сельскохозяйственной продукции, привозимой из-за океана. Европейская эмиграция сыграла также важную роль в феноменально быстром росте населения стран Нового Света.

В целом эмиграция сыграла в экономическом развитии Европы также положительную роль. Она была важным рыночным регулятором цены рабочей силы. Чрезмерное ее удешевление не только провоцировало социальные конфликты, но и ослабляло стимулы к техническому прогрессу. Кроме того, эмиграция способствовала расширению рынков сбыта продукции европейской промышленности. До тех пор, пока крупная индустрия в развивающихся странах Америки, Азии, Южной Африки и Океании не встала на ноги, именно Европа снабжала их как потребительскими изделиями, так и промышленным, транспортным и другим оборудованием.

Часть миграционных процессов XIX столетия была вызвана в большей степени политическими причинами. Долгое время одним из главных ресурсов заселения Сибири была каторга. Французское государство в качестве мест каторги использовало Новую Каледонию и Французскую Гвиану. Самые известные, благодаря литературе, ссыльные колонии в мире находились в Австралии, куда британские суды отправляли заключенных вплоть до 1868 г., с 1815 г. более 142 тысяч человек были перевезены туда на кораблях, среди них – множество членов ирландского национально-освободительного движения.⁵

Помимо миграций, вызванных экономическими или политическими причинами, необходимо упомянуть и те, что прохо-

⁵ Всемирная история в шести томах. Том 5. Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации / Отв. ред. В.С. Мирзеханов. М.: Наука, 2014. С.70.

дили под знаком религиозной или национальной нетерпимости. В результате освободительной войны в Греции в 1820-х гг. более 150 тыс. этнических турок были вынуждены покинуть обжитые земли. С другой стороны, резня христианского населения в 1822 г. на острове Хиос вынудила членов греческой общины покинуть свои дома. Многострадальный Балканский полуостров пережил еще не одну вынужденную миграцию, по окончании русско-турецкой войны 1878-1879 гг. около полумиллиона турок были выселены с территорий новообразованных государств. Не менее сложная ситуация сложилась в Османской империи после прихода к власти младотурецкого правительства, а Балканские войны 1912-1913 гг. лишь еще больше ухудшили ситуацию.⁶

Число людей покинувших пределы Российской империи в результате длительной Кавказской войны с трудом поддается оценке, в разных исследованиях фигурируют цифры от 400 тысяч до 1,2 млн. человек.⁷

Миграционные процессы затрагивали не только европейцев. Под их контролем продолжались или зарождались другие не менее значимые передвижения населения. Эти изменения способствовали увеличению разнообразия и гетерогенности людского пейзажа. Приведём здесь лишь один пример голландской колонии Суринам, где проживали белые европейцы, в ос-

⁶ *Lieberman B. Terrible Fate: Ethnic Cleansing in the Making of Modern Europe. Chicago, 2006*

⁷ *Берже А.П. Выселение горцев с Кавказа // Русская старина. 1882. Т.XXXIII. С.167* *Pinson M. Ottoman Colonization of the Circassians in Rumeli after the Crimean War // Etudes Balkaniques. Sofia, 1973. №3. P.72; Karpat K.H. Ottoman Population 1830-1914. Demographic and Social Characteristics. Madison, 1985. P.68-79.*

новном голландцы, креолы, потомки африканских рабов, индийцы, уроженцы Британской Индии и яванцы, призванные в качестве рабочей силы во второй половине XIX века.⁸

Миграционные потоки из Африки были прежде всего связаны с постепенно снижающейся в XIX в. работорговлей. Запрет на работорговлю не остановил трансконтинентальные миграции, эксплуатация африканцев была заменена *coolie trade*. Так называли наём, в основном на плантации, но также и на большие работы (например, строительство железных дорог) рабочей силы азиатских иммигрантов, в первую очередь из Китая и Индии.

Китайцы и индийцы занимали рабочие места в сельском хозяйстве, появившиеся в результате постепенной отмены рабства в мире, также они были активно заняты в торговле. Выходцы из Индии появились в Восточной и Южной Африке и к концу столетия стали основной этнической группой на о. Маврикий. Индийские иммигрантские общины также появились на восточном побережье Южной Америки, в странах Карибского бассейна, на островах Фиджи. С 1831 по 1920 гг. Индию покинуло более 1,3 млн. законтрактованных рабочих, во второй половине XIX в. из Индии в среднем уезжали 15-16 тыс. человек в год.

Китайская эмиграция распространилась на территорию Юго-Восточной Азии, Южной Африки, западного побережья Латинской Америки и США. «Отмените китайцев, и колонизация станет невозможной», - пишет А. Хаксли.⁹ Многочисленные свидетельства рассказывают о процветании китайских общин,

⁸ *Goslinga*, The dutch in the Carribean and in Surinam, 1791/1942, Assen/Maastricht, Van Gorcum, 1990, P. 515, 521.

⁹ *Huxley (A.)*. *Jesting Pilate*, 1926, trad. fr. *Le monde en passant*, Vernal/ Ph. Lebaud, 1988, P. 198.

об их духе предпринимательства, о способности подстроиться под местные условия и удовлетворить запросы рынка на потребительские товары. Некоторые наблюдатели заходят слишком далеко в оценке китайской мощи и влияния. В Сингапуре все говорят о «китайской колонии при английском правлении».¹⁰ В 1905 году романист Клод Фаррер так охарактеризовал их торговое могущество: «молчаливые завоеватели Индокитая».¹¹ Такое видение, несомненно, является преувеличением. Тем не менее, китайская диаспора активно включилась в процесс освоения новых территорий, добавляя свои штрихи и колорит в людской пейзаж других регионов и континентов.

Даже не особенно любящие путешествовать японцы, которые не любили покидать свои острова, просили японское правительство о разрешении строить новую жизнь в Северной Америке. Между 1885 и 1924 годами 200 тыс. человек прибыли из Японии на Гавайские острова и около 180 тыс. на североамериканский континент.¹²

Перемена мест затрагивает также арабские народы, иранцев, подданных Османской Империи. В Западной Африке роль торговцев закрепили за собой ливанцы, чаще всего христиане и мусульмане-шииты. Эта сирийско-ливанская миграция XIX века может рассматриваться, как одно из позднейших проявлений великого миграционного движения, которое, начиная со Средневековья, рассеяла арабские колонии по Африке и Индийскому

¹⁰ *Michaux (H.)*. Un Barbare en Asie [1933]. Paris, Gallimard, 1967, P.177.

¹¹ *Farrere (C.)*. Les Civilises [1905], in *Un reve d'Asie*. Paris, Omnibus, 1995, P.366.

¹² *Ronald T., Takaki* A Different Mirror. A History of Multicultural America. Boston, 1993. P. 247.

океану. Суахили, язык семейства банту, но с обширными арабскими вкраплениями, распространяется как *lingua franca* во всей восточной и южной Африке. Изначально арабская вязь переписывается на латиницу и подвергается лингвистической унификации. Суахили станет национальным языком в Кении и Танзании. Арабские переселенцы продолжали поддерживать тесные связи с родиной, осуществляя частые путешествия.¹³

Миграционные потоки XIX века значительно изменили этно-культурный ландшафт многих стран и регионов мира. Существование европейских переселенцев и других иммигрантов с местным населением, которое тоже само по себе не было однородным, актуализировало проблему взаимодействия и коммуникативных практик между разными этническими и расовыми группами.

Складывание диаспор как следствие массовой миграции в XIX веке стало повсеместным, почти обычным явлением. Сети отношений, формировавшиеся между принимающим и породившим диаспору сообществами становились чрезвычайно стойкими и важными. Дискретное социальное пространство диаспоры обрело в XIX веке невиданное до тех пор значение, делая относительным тезис о всеобщей возрастающей территориализации. На самом деле тенденция объединения национальных пространств шла рука об руку с возникновением транснациональных пространств с менее интенсивной территориализацией.¹⁴

¹³ Biusquet (G.H.). *La politique musulmane et coloniale des Pays-Bas*. Paris, Hartmann, 1939. P. 40-41

¹⁴ *Osterhammel J. Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century* / Transl. by P. Camillier. Princeton, 2014. P. 110.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

Конфессиональные сообщества стали объектом исследования российских историков сравнительно недавно. Период советской власти исключил религиозную тематику из числа востребованных и нуждающихся в изучении. В постсоветские годы к истории бытования религиозных организаций в конкретном регионе исследователи подходили с позиций краеведения, что объяснялось, в значительной степени, необходимостью заполнения лакун в историческом знании и подготовки сведений для религиозоведческой экспертизы. Первые годы XXI столетия ознаменовались переворотом в осознании роли религиозных организаций для жизни гражданского общества.

В исследовании конфессиональных сообществ важное методологическое значение имеют исторические представления Л. Февра¹ и М. Блока² о *ментальности* как способе видения мира. Историки французской «Школы Анналов» полагают, что апологеты и адепты религиозных учений формулируют основополагающие постулаты веры, а затем транслируют их вовне, делая доступными для восприятия, в то время как особенности ментальных установок отличают представителей разных конфессий, тем самым формируя способ видения мира.

¹ Февр Л. Бои за историю. М., 1991. 630 с.

² Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986. 256 с.

История ментальностей, рожденная во Франции, не избежала и упреков в свой адрес³. Главным пороком звучало обвинение в неоднозначности и аморфности самого понятия «ментальность», так как «...невозможно очертить точные границы и создать строгую математическую модель ментальности»⁴. В соответствии с принятыми наукометрическими стереотипами, результаты исследований должны быть измеримы, сопоставимы, сравнимы. Методологический инструментарий ментальной истории позволяет проникнуть вглубь изучаемого явления, выявить первопричины и следствия, проследить степень влияния на другие явления и процессы, но не позволяет провести строгие измерения.

Мнимые недостатки французской концепции Б.Г. Могильницкий провозгласил её достоинствами. «Едва ли можно даже бегло перечислить шаги историографической революции, требующие глубокого осмысления в категориях методологии истории. Одним из самых заметных её выражений стало возникновение «другой истории», изучающей «мир воображаемого» (Ж. Ле Гофф), т. е. истории, реконструируемой «изнутри», раскрывающей побудительные мотивы человеческой деятельности, которая определяется не только осязаемыми реалиями, но и многими коллективными образами, возникающими и трансформирующимися на их основе, ...этот подход, используемый в

³ *Агирре Рохас К.А.* Господствующие культуры и культуры подчинённые: диалог и конфликт // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2004. С. 41-62.

⁴ Там же. С. 44.

сочетании с традиционным историческим дискурсом, обогащает видение прошлого, делая его стереоскопическим»⁵.

Понимание особенностей менталитета, детерминирование поведенческих стереотипов невозможно без выяснения шкалы системы ценностей, а потому в исследовании конфессиональных сообществ мы полагаем целесообразным руководствоваться положениями тезаурусного подхода⁶. Под определением *тезауруса* мы принимаем положение, сформулированное Вал. и Вл. Луковыми: «Тезаурус – это структурированное представление и общий образ той части мировой культуры, которую может освоить субъект... Тезаурус (как характеристика субъекта) строится *не от общего к частному, а от своего к чужому*. «Свое» выступает заместителем общего. Реальное общее встраивается в «своё», занимая в структуре тезауруса место частного. Все новое для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно быть в той или иной мере *освоено* (буквально: сделано *своим*)»⁷. Мера освоенности, характер освоения и присвоения принимающего социума могут стать зримыми характеристиками конфессиональной общности, отличающей её членов от других.

Авторы концепции обращают внимание на «ориентирующий характер тезауруса», «действенность тезауруса, который влияет на поведение, другие проявления субъекта», его «воспитывающий (социализирующий) характер»⁸. Тезаурусные кон-

⁵ Могильницкий Б.Г. Методология истории в перспективе историографической революции // Теории и методы исторической науки: шаг в XXI век. / Отв. ред. Л.П. Репина. М., 2008. С. 14-16.

⁶ Захаров Н.В., Луков А.В. Школа тезаурусного анализа // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. С. 231-233.

⁷ Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход в гуманитарных науках // Гуманитарные науки: теория и методология. 2004. № 1. С. 94-95.

⁸ Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход... С. 94.

струкции определяют стиль поведения, методы воспитания подрастающего поколения, способы социализации. «Понятие тезауруса маркирует устанавливаемые эмпирически ментальные структуры, придающие смысл обыденным действиям людей и их сообществ, но, кроме этого, предопределяющие самые различные отклонения от обыденности и оказывающие воздействие, возможно – решающее, на весь комплекс социальных структур, социальных институтов и процессов»⁹. Оси тезауруса находятся «в системе координат «свой – чужой», которая обеспечивает ориентацию человека в окружающей среде», а общие части тезаурусных фрагментов, присущие членам данного сообщества, именуются «тезаурусными конструкциями»¹⁰.

Во всем многообразии проявлений повседневного существования конфессионального социума далеко не все они становятся тезаурусными конструкциями. Функция «текста» отведена лишь наиболее значимым из них, что и предопределено аксиологическим подходом¹¹.

Контекст аксиологического подхода сформулирован Генрихом Риккертом, последователем баденской школы неокантианства. Риккерт утверждает, что: «Ценность может обладать значимостью даже и при отсутствии акта оценки, выражающего то или иное к ней отношение... Это не значит, однако, что теория ценностей должна совершенно отвлечься от действительности. Напротив, лишь взяв действительность за исходный пункт, становится вообще возможным найти ценности во всем их многообразии и материальной определенности... для теории ценно-

⁹ Там же. С. 96.

¹⁰ Там же. С. 97.

¹¹ *Розов Н.С.* Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск, 1998. С. 28-37.

стей представляют интерес именно такие ценности, которые претендуют на значимость»¹².

Теория Г. Риккерт, созданная и обнародованная ещё в 1910 г., получила свое развитие в сочинениях французского исследователя Ж. Дюби, который в начале 1970-х писал: «Социальные отношения и их историческое преобразование осуществляются в контексте той системы ценностей, которая обычно считается детерминирующим фактором в истории этих отношений. Действительно, такие ценностные системы управляют поведением каждого индивида по отношению к другим членам группы»¹³.

В русской исторической школе инициатива разработки ценностного подхода принадлежит А.Я. Гуревичу. Продуктивным для нашего исследования стал сделанный им вывод: «Каждый индивид усваивает картину мира в зависимости от социальной принадлежности, образования, личностных качеств, возраста и т.п. Но поскольку фрагменты внешней реальности подвергаются в сознании индивида переработке и реорганизации в соответствии с его мировидением (а оно представляет реальность в преобразованной, даже неузнаваемой форме), то вполне естественно, что поведение людей соответствует не столько объективным условиям их существования, сколько картине мира, навязанной им культурой»¹⁴.

¹² Риккерт Г. Ценность и действительность (аксиология культуры) // [Электронный ресурс]. URL: <http://kulturoznanie.ru/?div=rikkert> (Дата обращения 05.08.2016).

¹³ DUBY, G. Histoire sociale et ideologies des societies // Faire de l'histoire. I. Nouvelles Problemes. Paris, 1974. P. 147-150.

¹⁴ Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2/3. С. 21-36.

Наивно полагать, что ценностные религиозные идеологии существуют в рафинированном мире; любая система ценностей, и религиозная в том числе, испытывает влияние окружающего мира (не только собственного конфессионального социума, но и иных, часто несхожих, недружественных). Региональный социум неизбежно накладывает отпечаток на стиль и характер бытования конфессиональных общностей (к примеру, сибирские мусульмане, как конфессиональная общность, имеют ряд отличительных характеристик от мусульман Кавказа). Испытывая влияние регионального социума, конфессиональные общности, в свою очередь, являются его институтами, нередко определяют его лицо.

Положение, принимаемое нами в качестве рабочего, сформулировано А.С. Ахиезером: «Ценностный подход к миру требует рассмотрения объективной реальности как результата человеческого самоутверждения; мир при таком подходе – прежде всего реальность, освоенная человеком, превращенная в содержание его деятельности, сознания, личностной культуры. Культурологическое рассмотрение человека сконцентрировано на его способности созидать и поддерживать свои ценности, мир своей деятельности, сознания и поведения»¹⁵.

Не претендуя на универсальность предложенной концепции, мы полагаем актуальность именно такого подхода к изучению конфессиональных сообществ и предлагаем вариант апробации на примере изучения конфессионального сообщества католиков¹⁶.

¹⁵ Ахиезер А.С. Теория культуры—методологическое основание изучения ценностей // Модернизация в России и конфликт ценностей. М, 1993. С. 14-18.

¹⁶ Недзелько Т.Г. Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоззрения на повседневную жизнь (1830-1917 гг.): монография. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. 345 с.

Г.В. РОКИНА

**ОСМЫСЛЕНИЕ / ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
РУССКО-СЛОВАЦКИХ КОНТАКТОВ XIX ВЕКА
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Образование в 1993 году независимой Словацкой Республики и последовавшие за этим политические перемены привели к переосмыслению в словацкой историографии важнейших рубежей истории словацкого народа. Среди тем, которые переживают «ревизию» в историографии Словакии - это период т.н. словацкого национального возрождения и история русско-словацких контактов.

После образования Словацкой Республики в определенной мере была прервана преемственность чехословацкой и словацкой историографии. Первым изданием «новой истории» Словакии после 1993 года стала «История Словакии», принадлежащая перу известного словацкого историка Д. Ковача¹. В его работе были обозначены новые подходы при характеристике периода национального возрождения, хотя в определенной степени автор стремился сохранить континуитет с чехословацкой историографией. Так, традиционный период словацкого возрождения назван периодом «возникновения новой словацкой нации»². Д. Ковач указывает, что уже в колларовом варианте (автор теории славянской взаимности Я. Коллар (1793-1852) славянская вза-

¹ *Kováč D. Dějiny Slovenska. – Bratislava: Lidové noviny, 1998.*

² *Ibidem. S. 400.*

имность имела политический характер. Русский фактор в этой теории он относит к велению времени – «Россия в этот период усилила свою мощь». Но уже с 1831 года после подавления польского восстания русским царизмом, по мнению Д. Ковача, данный фактор не играл в словацком движении заметной роли. Штуровский этап движения (Л. Штур (1815-1856) - отец-основатель словацкой нации), Д. Ковач считает полностью политическим. При этом в работе приводится характеристика сочинения Л. Штура «Славянство и мир будущего». Эту работу автор издания считает реакцией на депрессию после подавления революции 1848 г., подчеркивая, что ее нельзя рассматривать как завещание Л. Штура, тем более оно осталось неизвестным словацкой публике ³. Вслед за Д. Ковачом новое прочтение трактата Штура было представлено в статьях Д. Кодайовой ⁴ и в юбилейных сборниках, посвященных 95-летию и 100-летию Л. Штура ⁵

В изданной в Братиславе в 2000 году на английском языке «Краткой истории Словакии» понятия «славянская взаимность» и «словацкое возрождение» не упоминаются вообще, в работе нет традиционного для прежней словацкой историографии раздела о национальном возрождении. Этот период определен как

³ Ibidem. S. 125.

⁴ Kodajová D. Politický testament Ľudovíta Štúra // Mýty naše slovenské. – Bratislava, 2005. S.111–119.

⁵ Nove kontexty života a diel Ľudovíta Štúra: Zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. az 29. októbra 2010 v Modre. – Modra: Modranska muzealna spoločnosť, 2012. Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív - Bratislava: Historický ústav SAV: Veda, 2015.

«период структурных перемен» – 1711–1848 гг. – «модернизация»; «начало становления гражданского общества»; «национальное движение словаков»⁶.

Стремление переосмыслить значение идеи славянской взаимности и связанные с ней различные проявления интеграционных движений австрийских славян, в том числе и русско-словацких контактов, особенно заметно в публикации материалов международной научной конференции, организованной объединением STRED – Центрально-Европейский диалог в Пардубицах в 2004 году⁷. Уже в самом названии сборника материалов конференции «Слованстви в центрально-европейском пространстве - иллюзии, разоблачения и реальность» обозначен поворот от прежних концепции чехословацкой историографии проблемы единого славянства. Как сказано в предисловии к сборнику, «славянское сотрудничество в политической области часто было лишь иллюзией, имеющей мало общего с реальностью, за которой следовали разочарование и разоблачение. А взаимные культурные связи чаще всего происходили и происходят в первую очередь благодаря языковой близости»⁸. Среди трех десятков публикаций сборника, посвященных славянской идентичности, общеславянским научным и политическим про-

⁶ A Concise History of Slovakia. *Studia Historica Slovaca XXI* / Edited by E. Mannova. Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Bratislava, 2000. Нами использован русский перевод труда – «История Словакии» (М., 2003), осуществленный с исходной рукописи на словацком языке в Институте славяноведения РАН.

⁷ *Slovanstvi ve stredoevropskem prostoru. Iluze, deziluze a realita* / D. Hrodek a kol. Libri, 2004.

⁸ *Ibidem*. S.7.

граммам - статьи молодых чешских, словацких, польских, венгерских и украинских авторов, в которых представлены новые концепции и подходы к истории межславянского сотрудничества. Заметную политическую ангажированность данного сборника во многом объясняет статья одного из его авторов - польского журналиста А. Эберхардта «Славянская идея в общественном сознании и внешней политике современной России». Автор статьи утверждает, что на современную внешнюю политику России оказывает влияние славянофильская, панславистская и евразийская идеологии. Анализ современной внешней политики России, по мнению А. Эберхардта, показывает, что чем больше российская власть обращается к славянской идее, тем меньше способствует ее воплощению в реальность⁹.

В 2007 году в результате сотрудничества чешского и словацкого издательств (Libri и Slovart) была издана новая «История Словакии: даты, события, личности», адресованная, как говорится в предисловии, чешским и словацким читателям. Главы, хронологически совпадающие со словацким национальным возрождением, написаны словацкими историками М. Кохутовой и М. Подримавским. По мнению М. Кохутовой, «национально-освободительное движение, которое пробудила Великая французская революция, не обошел и словацкий народ»¹⁰. «Кодификация словацкого языка, создание собственной литературы, литературных и просветительских обществ не были единственной целью этого процесса, а они были средством для достижения политической самобытности народа». Интеграционные предпо-

⁹ Ibidem. S.117-124.

¹⁰ Dejiny Slovenska: datумы, udalosti, osobnosti. –Bratislava: SLOVART; Praha: Libri, 2007. S.220.

чтения словаков автор перечисляет в следующей последовательности: «В борьбе с мадьяризацией наши интеллигенты искали поддержку в идеях литературно-языковой и племенной общности словаков и чехов, а также в сотрудничестве с представителями славянских народов в Венгрии, Габсбургской монархии и за ее пределами». О России, о русско-словацких контактах словацкой возрожденческой интеллигенции в период усиления мадьяризации автор не делает ни одного упоминания¹¹.

В главе «Модернизация и освободительный процесс в Словакии 1850-1914 гг.», подготовленной М. Подримавским, отмечено, что до 1848 года словацкий вопрос был частью внутренней и внешней политики многонациональной Габсбургской монархии. Это придавало словацкой политике определенную направленность дальнейшей перспективы словацкого освободительного процесса. Словацкие политики, по его мнению, в ходе революции 1848 года в духе идей славянского сотрудничества ожидали больших перемен в Центральной Европе, где скажется и влияние России, которая поддерживает освободительную борьбу западных и южных славян. Неоправданные надежды и дальнейшее установление дуалистической монархии превратили словацкий вопрос в проблему внутренней жизни Венгрии. Идея единого венгерского народа не оставляла невенгерским народам надежд стать субъектами государственности¹². Отметив негативные последствия проводимой Венгрией политики, автор да-

¹¹ Подробный анализ данного издания дан в статье: *Рокина Г.В.* Современные трактовки интеграционных процессов словацкого национального движения XIX века в историографии Словацкой Республики // *Славянский мир: в поисках идентичности.* М., 2011. С.919-929.

¹² *Ibidem.* S.274.

лее указывает на особенности процесса модернизации в Словакии. Проблему славянской взаимности и панславизма, которые были частью общественной мысли Словакии данного периода, М. Подримавский не рассматривает. Среди важнейших дат автор называет май-июнь 1867 года – «путь Славян» в Москву на Славянский съезд, который был протестом против установившегося дуализма. Здесь же он указывает на издание труда Л. Штура «Славянство и мир будущего»¹³, не раскрывая его идей. М. Подримавский отмечает, что это сочинение в оригинале было написано на немецком языке. О деятельности С.Г. Ваянского, сторонника русско-словацкого сближения в этой главе нет ни одного упоминания. Да и во всей этой «Истории Словакии» его имя упоминается лишь один раз - указана дата смерти Ваянского 17 августа 1916 года как «одного из известных представителей словацкого национального движения, поэта, прозаика, публициста и журналиста».

¹³ Для современной словацкой историографии характерно признание труда Л. Штура «Славянство и мир будущего» как нечто случайное и неорганичное в наследии одного из главных «отцов-основателей» современного словацкого народа. Неоднозначно в словацкой историографии была встречена первая публикация на словацком языке «панславистского» сочинения Л. Штура (*L. Štúr. Slovanstvo a svet buducnosti. Bratislava: Slovansky instutut medzinarodnych študii, 1993*). «Мы же знаем, в какой жизненной и психической ситуации был Людовит Штур, когда писал свой последний труд», - замечает автор статьи «Славянская идея сегодня» в одном из номеров «Народного календаря» Матицы словацкой. См.: *Hvišč J. Slovanská myšlenka dnes // Národný kalendár. 1996. S.38.*

Это лишь небольшая часть нового прочтения и новых оценок, которые предлагают словацкие исследователи проблеме межславянского сотрудничества, в частности русско-словацкого.

Тема межславянских связей по-прежнему остается актуальной для словацкой историографии - публикуются многочисленные материалы, документы и исследования, по истории взаимоотношений с южными славянами, с чехами, поляками¹⁴. В связи с этим особый интерес вызывает коллективная монография словацких авторов, вышедшая на русском языке в Братиславе накануне визита Президента РФ Д.А. Медведева в Словакию весной 2010 года¹⁵. Среди авторов монографии – ведущие ученые Словацкой Республики, большинство из которых члены Международной комиссии историков России и Словакии.

Выход подобного труда был ожидаем в научном и историографическом плане, он также был необходим в плане политическом и культурном. Последние годы определенного «застоя» в русско-словацком научном и культурном сотрудничестве оживляли лишь редкие акции, предпринимаемые узким кругом историков-славистов, объединенных в 2004 году в Международную комиссию. Русско-словацкие связи и взаимовлияния до сих пор оставались предметом изучения узкого круга славистов, как бы не актуализировалась эта проблематика в официальных кругах. Сегодня уже можно констатировать, что организованная по инициативе двух академий (Российская Академия наук и Словацкая академия наук) Международная комиссия смогла изменить эту ситуацию. В ходе реализации совместных научных про-

¹⁴ См., например: *Krajcovic Milan. Slovenske narodne hnutie v medzinarodnjm kontexte. Bratislava, 2010.-459 s.*

¹⁵ Мифы—стереотипы—образы: Восприятие России в Словакии / Т.Ивантышинова и коллектив авторов. Братислава - Йошкар-Ола, 2010.

ектов обобщен и проанализирован уникальный опыт узнавания, сотрудничества, признания, отрицания, толерантности и никогда – равнодушия – т.е. самых разных форм взаимодействия двух народов. Данное издание - прекрасный пример того, что ситуация меняется. В статьях словацких авторов очень тактично, разумно и профессионально расставлены акценты в сложных «зигзагах» словацко-русских отношений: и в период, когда Россия могла чаще лишь выражать сочувствие и оказывать небольшую материальную поддержку через своих ученых и общественных деятелей народу, входившему в Австрийскую империю, с которой у нее были свои политические обязательства; и в период советского тоталитаризма, когда Чехословакия стала ареной политических амбиций СССР; и в новейшей истории – когда словаки впервые создали собственное независимое государство.

Исследование данной темы продолжено на страницах опубликованной в 2010 году монографии «Восточная дилемма Центральной Европы»¹⁶. Во вступительной статье к монографии известная словацкая исследовательница истории словацко-русских взаимовлияний XIX века Т. Ивантышинова вводит понятие «словацкого панславизма», считая его создателями Я. Коллара и П.И. Шафарика. «В понимании создателей «словацкого панславизма»... русские были составной частью культурного «славянского народа». Объединение славян в представлениях словацких творцов «панславизма» исходило из идеологии немецкого национализма, опыта сосуществования многочисленных народов Венгрии, для которых типично было культурное и религиозное взаимовлияние»¹⁷.

Д. Кодайова в статье, посвященной исследованию феномена русофильства в истории словаков, делает вывод о том, что

¹⁶ *Východná dilema strednej Európy / T. Ivantyšinová, D. Kodajová a kol. Bratislava, 2010.*

¹⁷ *Ivantyšinová T. Stredná Európa na rázcestí // Ibidem.- S.7.*

русофильство было проявлением антимадьярской демонстрации, в итоге оно не принесло позитивных результатов, а для словацкого национального движения было «непродуктивно»¹⁸.

В авторитетных работах словацкой историографии последних лет, во многом определяющих основные векторы и ключевые темы по истории XIX века, тема русско-словацких контактов отошла на периферийные позиции¹⁹.

Осмысление русско-словацких контактов XIX века в новых политических условиях для словацких историков не всегда проходит в виде ревизии прежних подходов. По-прежнему существует традиционная линия оценки этих связей, ориентированная прежде всего на огромный корпус исторических источников, сохранивших свидетельства значения русского фактора в словацкой истории и активные русско-словацкие контакты прошлого. К этому направлению словацкой историографии относятся публикации кафедры всеобщей истории Университета им. Я. А Коменского²⁰, материалов конференций, подготовленных комиссией историков России и Словакии²¹.

¹⁸ *Kodajová D.* Fenomén rusofilstva v minulosti Slovákov// *Ibidem.* –S.134.

¹⁹ См.: *Klucove problem modernych slovenskych dejin 1848-1992.* Bratislava: Veda, 2012; *Kovac D. a kol. Sondy do slovenskych dejin v dlhom 19. storoci.* Bratislava: SAV, 2013.

²⁰ См., например: *Ruska politika na euroazijskom kontinente v modernych dejinach.* Bratislava, 2014; *M.Danis, V. Matula. M.F. Rajevskij a Slovaci v 19.storoci.* Bratislava, 2014.

²¹ Русские и словаки в XIX-XX вв.: контакты, взаимодействия, стереотипы: Материалы международной научной конференции, приуроченной ко Второму заседанию Комиссии историков России и Словакии. Москва, 2-4 октября 2007 года. – М.- Йошкар-Ола, 2007.

М.Ф. РУМЯНЦЕВА

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ И О ЕЕ ПЕРСПЕКТИВАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Название доклада очевидным образом выдержано в провокативном ключе. Суть интеллектуальной провокации – актуализация, в связи с проектом «всемирной истории», теории исторического процесса Э. Гуссерля, компактно изложенной в прочитанном им в Вене в 1935 г. и опубликованном в виде статьи только в 1954 г. докладе «Кризис европейского человечества и философия» [Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, Агенство САГУНА, 1994. С. 101-126].

Концепция Э. Гуссерля весьма радикальна по содержанию: знаменитый немецкий феноменолог распространяет понятие «история» («исторический процесс») в пространстве исключительно на так называемую «духовную Европу» (Западная Европа и Соединенные Штаты Америки как ее порождение), а во времени – начинает с рубежа VII-VI вв. до н.э., со времени возникновения философии в Древней Греции, и констатирует ее кризис в 30-е гг. XX в., что и явствует из названия доклада. Можно было бы воспринять некоторые размышления Гуссерля даже как экстремистские (например: «...если человек, и даже папуас, представляет собой новую по сравнению с животными ступень одушевленности, то философский разум [свойственный, по мнению Гуссерля, исключительно европейскому человечеству – *М.Р.*] является новой ступенью человечества и его разума. [Там

же. С. 119)), но в защиту Гуссерля следует подчеркнуть, что весь пафос его доклада нацелен на критику именно «европейского человечества» и его «философского разума».

Конечно, можно было бы отнести эту концепцию Гуссерля, явно маргинальную по отношению к основному направлению его философских усилий, к интеллектуальным казусам, расценить ее как некую «шутку гения», если бы эта теория не вписывалась совершенно органично в интеллектуальный ряд: с одной стороны, Г.В.Ф. Гегель, разделивший народы на «исторические» и «неисторические» [Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 126-127 и след.], и даже К. Маркс–Ф. Энгельс, рассматривавшие «всю историю... как историю борьбы классов» (Манифест коммунистической партии), и далее – концепция «конца истории» [Фукуяма. Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-155], с другой стороны, К. Ясперс с его теорией «осевого времени» [Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 27-286], и уже в конце XX в. – Ю.М. Лотман, П. Нора, П. Хаттон. Лотман разделил народы на письменные (исторические) и бесписьменные (традиционные) [Лотман Ю.М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры? // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера. М.: «Языки русской культуры», 1996. С. 344-356]. П. Нора пишет о «деколонизации... малых народов, ... кто обладал сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории» [Нора П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти // Франция–память. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 18]. А П. Хаттон разделяет память-повторение (традиционная) и память-вспоминание (историче-

ская) [Хаттон П. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 23 и след.].

Если принять концепцию Гуссерля и ее теоретико-исторический контекст в качестве отправной точки рассуждений о проекте «всемирной истории», то мы неизбежно логически придем к промежуточному выводу – «всемирная» / «глобальная» история невозможна, поскольку история как наука описывает / интерпретирует / репрезентирует (воспользуемся здесь терминологией предложенной Ф.Р. Анкерсмитом модели смены «словарей» исторической науки [Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 213-258]) историю как процесс: соответственно, применительно к тем локусам, где исторический процесс как таковой не разворачивался, неприменимы и описание / интерпретация / репрезентация истории.

Или все-таки применимы? Вероятно, что «всемирная» история, если и возможна, то, в первую очередь, как глобальный нарратив. Нарратив может рассматриваться как «соединение дескрипции и объяснения» [Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: «Канон+» РОИИ «Реабилитация», 2007. С. 222], может – как способ «интерпретации значения исторических явлений» [Анкерсмит Ф.Р. История и тропология... С. 217-223]. Но при любом подходе невозможно не согласиться с тем, что нарратив неверифицируем (Х. Уайт, П. Вен, Ф.Р. Анкерсмит и др.). Вполне очевидно, что выстраивание «всемирной» истории в русле нарративной логики историописания консервирует историческое знание в неклассической модели науки, уже давно, как минимум с 60-х годов XX в., не отвечающей потребностям социума. Соответственно трудно не солидаризироваться с размышлением А. Мегилла (в связи с проблемой фрагментации научного исто-

рического знания): «Каждые несколько лет выдвигаются предложения того или другого нового синтеза. Давайте, однако, быть начеку, все призывы к синтезу – это попытка навязать интерпретацию [Мегилл А. Историческая эпистемология... С. 256-257].

Свой вариант решения проблемы «всемирной» истории, но уже с позиций неоклассической науки, предлагает феноменологическая концепция источниковедения, прошедшая в течение XX в. путь от структурной составляющей методологии истории, через конституирование дисциплинарного статуса (с конца 1930-х – в 1950-е гг.) к научному направлению (в последние десятилетия XX в.).

Отправная точка расхождения неклассической и неоклассической моделей источниковедения – концептуальные различия баденского и русского неокантианства: если баденцы сосредоточились исключительно на проблеме логики исторического построения [например: *Риккерт Г. Философия истории // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре: пер. с нем. М.: Республика, 1998. С. 129-234*], то русские неокантианцы сосредоточили внимание на обосновании эмпирического объекта гуманитарного познания [*Введенский А.И. О пределах и признаках одушевления: новый психо-физиологический закон в связи с вопросом о возможности метафизики. СПб.: тип. В.С. Балашева, 1892*], выступающего в историческом познании в качестве исторического источника [*Лаппо-Данилевский А.С. Методология источниковедения // Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. Т. 2. С. 19-395*]. Но если в точке начала расхождения неклассической и неоклассической моделей источниковедения эмпирический объект исторической науки – исторический источник понимался как «реализованный продукт человеческой

психики...» [Там же. С. 38], а историческое построение вполне подчинялось логике нарратива (несмотря на усилия А.С. Лаппо-Данилевского по созданию оригинальной концепции в этой области [Лаппо-Данилевский А.С. Методология исторического построения // Там же. С. 395-542]), дальнейшее развитие концепции шло по линии усложнения представлений об объекте: от исторического источника – к системе видов исторических источников, целостно репрезентирующей определенную социокультурную общность, – и к универсальному понятию «эмпирическая реальность исторического мира», обоснованному О.М. Медушевской в работах, опубликованных в 2008 г. [Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: Рос. гос. гуманитарный ун-т, 2008; *Ее же*. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. — 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008. С. 24-34].

Именно наличие исторического источника в качестве самостоятельного объекта изучения позволило конституировать источниковедение как дисциплину (субдисциплину) исторической науки [о понятии дисциплины/субдисциплины см.: Теория и методология исторической науки: терминолог. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С. 96], а обоснование в качестве объекта источниковедения системы видов исторических источников позволило рассматривать его как самостоятельное научное направление, т.е. особый ракурс рассмотрения исторической реальности [Там же. С. 319-320], что и легитимирует претензию источниковедения на оригинальный вариант выстраивания «всемирной истории».

Расхождение неклассической и неоклассической привело к тому, что в начале XXI в. О.М. Медушевская сочла возможным противопоставить нарративную логику историописания, рефлексия которой и была осуществлена в Баденской школе неокантианства, концепции истории как строгой науке, имеющей в основе концепцию источниковедения А.С. Лаппо-Данилевского [Медушевская О.М. Теория и методология... С. 15-16]. Мы, вслед за О.М. Медушевской (правда, не во всем с ней соглашаясь), противопоставляем нарративной логике выстраивания всемирной истории логику сравнительно-исторического исследования, строгий, эмпирически фундированный метод которого предлагает компаративное источниковедение, базирующееся на теоретическом осмыслении положения, что основная классификационная единица источниковедения – вид исторических источников – репрезентирует объединенные единством целеполагания определенные формы социальной активности человека, совокупность которых составляет историю общества [Теория и методология исторической науки... С. 222].

Итак, построение «всемирной» истории, если вообще возможно, то возможно как нарратив, подчиненный воле историка (оставим за границами рассмотрения степень вольности этой воли, равно как и факторы ее «дисциплинирования... и возвышения...до субъективной свободы» – Г.В.Ф. Гегель), но и как компаративное исследование, опирающееся на экспликацию структуры глобального эмпирического объекта – эмпирической реальности исторического мира. Дополнительные возможности в рамках источниковедческой концепции создают визуальный и «вещный» повороты в историческом познании, позволяющие вовлечь в рассмотрение визуальные и вещественные источники,

имеющие более универсальный характер, нежели письменные, прочно связанные с историческим типом культуры, казуальной по содержанию и письменной по механизму фиксации [*Лотман Ю.М. Альтернативный вариант...*].

А.Д. САВАТЕЕВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ МИГРАЦИЙ В РОССИЮ: СЦЕНАРИИ В СВЕТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ СДВИГОВ

Основной и наиболее острый фактор, порождающий миграцию из стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, – исламистские движения, которые поставили под вопрос право на жизнь людей иных религиозных взглядов, в том числе мусульман, не разделяющих экстремистские взгляды приверженцев «Исламского государства» (здесь будет употребляться арабское сокращение – ДАИШ), Аль-Каиды, Джебхат ан-Нусры (организации запрещенные в РФ). Возникновение резко расширившихся миграционных потоков – следствие, в первую очередь, так называемой «арабской весны», в которой в результате схватки двух цивилизационных направлений в странах Ближнего Востока – исламского и западного («демократического») на поверхность вышли экстремистские исламистские группировки, приступившие к реализации идеи всемирного халифата. В развернувшейся борьбе с исламистами национальных государств и умеренной части мусульманского общества разрушаются системы жизнеобеспечения, государственного управления, ликвидируются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, люди лишаются работы, источников и средств существования, каких бы то ни было жизненных перспектив (с наибольшей силой процессы проявились в Сирии и Ираке, где особенно активно развернулись экстремистские организации) и вынуждены бежать туда, где открыты границы для приема мигрантов и бе-

женцев, где наиболее высоки социальные выплаты и общий уровень жизни.

Трудовая миграция среди этой категории людей составляет незначительную долю, хотя экономические факторы также следуют учитывать: трудовые мигранты в основном следуют из стран Северной и Западной Африки, Афганистана и государств Южной и Юго-Восточной Азии.

Что касается России, то наиболее вероятные зоны происхождения миграций, помимо государств СНГ, – Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш. Вполне вероятно, в ближайшем будущем следует ожидать подъёма волны беженцев и мигрантов из Афганистана, где раскручивается противостояние между местной организацией «Талибан» и приверженцами ДАИШ, довольно быстро наращивающим здесь свое влияние. Столкновения между ними, а также с правительственными силами обостряют и без того нестабильную обстановку, создают реальную опасность для мирных жителей, прежде всего интеллигенции. Для мигрантов из этой части мира, первая волна которых прорвалась в Россию еще в первой половине 1990-х после падения режима Наджибуллы, маршрут проложен: это, в первую очередь, Таджикистан, в меньшей степени Узбекистан, далее – в города европейской части России. Не исключен их проход и через территорию Туркменистана. Кстати, боевые действия в таком случае могут перекинуться и на территорию Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, где также существует исламистское подполье, лидеры которого мечтают захватить власть. Такие попытки уже предпринимались в 1990-е гг., и тогда они вызвали бегство значительной части населения, особенно интеллигенции, в Россию.

Менее вероятной территорией исхода являются арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки. Но и этот вариант может стать реальным в том случае, если Европа начнет ограничивать въезд арабов, что и демонстрируют ныне правительства государств южной части Европы. В этом случае поток мигрантов скорее всего может последовать через территории Турции, Азербайджана и Грузии. Этот сценарий вполне возможен, если США прибегнут к прямому применению силы для свержения президента Сирии Б. Асада, что окончательно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и, кстати, вынудит Россию вступить с Америкой в вооруженную конфронтацию, что фактически поставит мир на грань глобальной катастрофы. К арабам на этом маршруте вполне могут присоединиться и негро-африканцы.

Политическая нестабильность в целом ряде западно- и восточно-африканских стран, межэтнические и конфессиональные противоречия, приведшие в отдельных государствах к боевым действиям между армией и различными группировками, в первую очередь, исламистской направленности, «молодежный бугор», множащий численность безработных молодого возраста, дефицит продуктов питания способствовали созданию зоны нестабильности, межконфессиональных противоречий и социально-экологической опасности и продолжают наращивать свое действие, выталкивая избыточное население за пределы Африканского континента. Условно это потенциальное направление миграции в Россию можно назвать юго-западным в отличие от «афганского», которое, следуя тому же принципу определений, следует именовать южным. В силу наибольшего числа факторов, включающих бурный рост населения в африканских странах, когда, по расчетам ООН, к 2050 г., например, в Нигерии числен-

ность населения с нынешних 170–180 млн. вырастет до 440 млн. человек, в Танзании – с 40 млн. до 129 млн., а в Уганде – с 36 до 104,1 млн., приток мигрантов из Черной Африки на территорию Европы и в Россию увеличится в несколько раз. Большая часть их будет прибывать, скорее всего, юго-западным направлением. Но не исключена вероятность транзита через страны Европы, включая западноевропейские, особенно если там будут введены жесткие запреты на прием иностранцев. Потенциал мигрантов в этом случае будет огромен. Пока что он весьма незначителен, однако в свете перспектив столь бурного увеличения населения в Тропической Африке и в арабских странах может стать колоссальной проблемой для всего мира, приобрести глобальное значение. Тогда уже и в России, если не принять должных ограничительных мер, речь пойдет о миллионах мигрантов из Африки и распадающихся арабских государств.

Какого рода мигрантов следует ожидать? Во-первых, это люди иных цивилизаций, сформировавшиеся в условиях качественно иных цивилизационных норм, правил общежития, религиозных и культурных убеждений, политических представлений. Эти цивилизационные различия будут определять иную реакцию новопривывших на события, поступки российских людей, на действия официальных лиц, в отличие от привычной реакции наших сограждан. Как показывает многолетняя практика взаимоотношений европейцев с мусульманами из стран Ближнего и Среднего Востока, приверженность ценностям, нормам, религиозным заповедям своей цивилизации – наиболее постоянная и неизменная составляющая поведения приезжих в условиях иного общества. Даже дети мигрантов во втором и третьем поколении, родившиеся уже во Франции, Германии, Великобритании, в большинстве своем предпочитают оставаться в лоне

родительской веры, более того – нередко демонстрировать неуважение к культуре и традициям принявшего их общества и законам государства.

Подавляющая часть мигрантов – мужчины молодого возраста, до сорока лет, которым проще приспособиться к образу жизни в иных условиях, оставаясь при этом верными своей вере и культуре. В образовательном смысле подавляющее большинство арабов имеет начальное и неполное среднее образование, но обладатели дипломов о высшем образовании встречаются среди них, пожалуй, чаще, чем их коллеги, оставшиеся на родине. «Молодежный бугор» еще более выражен среди африканцев, образовательный уровень которых, напротив, ниже, чем у арабов. Что касается афганцев, пакистанцев, то среди них в данный момент тоже будут преобладать молодые мужчины фертильного возраста, крепкие и работоспособные, имеющие в основном навыки торговцев, однако не исключены и профессиональные военные. Именно они в нынешней мировой обстановке, пожалуй, будут представлять наибольший интерес для России, особенно те, кто получил образование в советских/российских военных училищах, а также специалисты с высшим образованием, которых следует использовать в хозяйственных отраслях страны и, по возможности, в качестве военных советников. В любом случае необходимо обеспечить внимание ко всем мигрантам, дабы расположить их к России. Многие из них, вероятно, хранят в памяти, как Россия 1991 года, по существу, предала своих друзей и союзников в арабском мире. Неблаговидную роль «новая Россия» сыграла и в судьбе тех офицеров афганской армии, которые в 1980-х гг. вместе с советскими соратниками сражались против исламистского интернационала и которые после выхода Советской Армии из Афганистана,

брошенные на произвол судьбы, вынуждены были бежать в Россию, спасая свои семьи от расправ моджахедов. Помнят и о том, как не найдя поддержки, подходящей работы и простого внимания со стороны тогдашних либеральных правителей государства, подавляющее большинство этих мужественных воинов с семьями в 1990–2000-е годы уехало в Западную Европу, откуда получили приглашения и обещания работы. Кто был бы сейчас особенно полезен в российских подразделениях, охраняющих южную границу Таджикистана, когда к ним вплотную подошел «Талибан» и примеряется ДАИШ? Ответ вполне очевиден...

Что же касается африканцев и арабов, не владеющих русским языком, то их можно занять только неквалифицированной физической работой. Но, учитывая серьезные цивилизационные отличия этих людей, следует сделать вывод: их присутствие в России нецелесообразно и нежелательно. Этот вывод подкрепляется еще более серьезным соображением о вполне вероятном присутствии в их рядах приверженцев экстремистских группировок, планирующих перенести на территорию России пламя борьбы с «неверными», совершить громкие теракты.

И все же к будущему наплыву мигрантов, представляющих собой иной социально-культурный мир, следует начать готовиться уже сейчас. Эта подготовка должна включать в себя не только принятие соответствующей правовой базы, но и изучение особенностей цивилизационной идентичности, норм и ценностей, конфессиональных убеждений потенциальных мигрантов, обучение специфике работы с этими людьми. К сожалению, руководство Федеральной миграционной службы (как и организация в целом) не готово и, самое главное, не хочет осознать всю глубину, тонкость и важность такой многоплановой работы. Поэтому, если описанные здесь сценарии оправдаются (а скорее

подобного развития событий в той или иной мере едва ли удастся избежать), вести ее придется другой государственной организации и вести довольно тонко, сочетая применение правовых норм с использованием должных моральных и культурных аргументов, знаний особенностей исламской и африканской цивилизаций. В противном случае возможны грубые ошибки, которые будут в очередной раз использованы недругами нашей Родины для очернения ее образа.

В.В. СУВОРОВ

ИДЕОЛОГИЯ «ВОСТОЧНИЧЕСТВА»

В КОНТЕКСТЕ РАССУЖДЕНИЙ

О ПРИМЕНИМОСТИ ТЕОРИИ «ОРИЕНТАЛИЗМА»

Э. САИДА К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Применимость теории Э.Саида к Российской восточной политике и политике в отношении окраин во второй половины XIX – начала XX вв. уже долгое время порождает дискуссии в научных кругах. В исследованиях нашли отражение вопросы связи востоковедения и власти и использования науки в интересах государства¹. Рассмотрение Востока представлено не только с географической точки зрения, но и как целого ряда предположений и стереотипов об отсталости и невежестве народов, населяющих эти территории, по сравнению с европейской частью страны и Европой в целом². Примером комплексного исследования этого вопроса выступают монографии Д. Схиммельпен-

¹ См., например: Knight N. Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // *Slavic Review*. 2000. Vol. 59, № 1. P.74–100.

² См.: Бассин М. Россия между Европой и Азией: идеологическое конструирование географического пространства // *Российская империя в современной зарубежной литературе: антология*. М., 2005. С. 277–310; Халид А. Российская история и спор об ориентализме // Там же. С. 311–323; Найт Н. О русском ориентализме: ответ Адиду Халиду // Там же. С. 324–344 и др.

нинка ван дер Ойе и Лорен де Мо³, изданные в 2010 году. Затрагивают данную проблему и отечественные исследователи. Как правило, акцент делается на позиции научного востоковедения и взаимоотношениях востоковедов и власти, при этом феномен «восточничества» остается вне поля зрения исследователей.

Во второй половине XIX – начале XX века в формировании представлений о Востоке можно выделить две противоположные тенденции. С одной стороны, происходило моделирование образа «врага», «чужого», с другой – складывались представления о «близком», «дружественном» и даже «родном» Востоке. Негативный образ Востока, который противопоставлялся России и Западу, нашел отражение и в геополитических проектах, и в журналистике, и во взглядах общественных и государственных деятелей. Такое представление о Востоке в целом соответствует теории Э. Саида.

Однако, если взгляды научных кругов, особенно географов-исследователей Азии до 1880-х гг. в часто соответствовали принципам, представленным в теории ориентализма, то в 80-е гг. XIX намечаются важные изменения в отношении к Востоку, нашедшие отражение в отечественном востоковедении и концепции «восточничества» - системе взглядов и идеологии, в основе которой лежало «позитивное» восприятие Востока и последовательная идентификация России с ним и противопоставление Западу. Процесс формирования положительного образа Востока остается пока в меньшей степени изученным. В целом,

³ Schimmelpenninck van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration. New Haven, 2010; Lorraine de Meaux. La Russie et la tentation de l'Orient. Fayard, 2010.

«позитивное» отношение к Востоку было в наибольшей степени представлено во взглядах идеолога «восточничества» Э.Э. Ухтомского и его сторонников, а позднее нашло отражение в евразийской концепции. Последовательная идентификация России с Востоком, лежавшая в основе «восточничества», и противопоставление ее Западу, представляется по-своему уникальным культурным явлением не только для своего времени, но для современности. При всей немногочисленности сторонников «восточничество» стало достаточно самобытным явлением в российской общественно-политической мысли.

Анализируя позицию отечественных востоковедов на рубеже XIX-XX веков в. Историк Вера Тольц приходит к выводу, что почти все российские ученые-ориенталисты критиковали российское правительство за игнорирование особой роли знания, прежде всего использования востоковедческих исследований в процессе принятия политических решений, а также критиковали нежелание государственных чиновников признавать превосходство академического знания над всеми остальными способами познания Востока⁴.

Особое внимание на указанную проблему обращал внимание Э.Э. Ухтомский, которого тревожили представления русского образованного общества о Востоке и то, что являлось очевидным для него, было непонятно и неприемлемо для широкой общественности. Кроме незнания этнографии народов русского востока и неуважения к их культуре существовала проблема неосведомленности о Востоке в целом, непонимания

⁴ Тольц В. «Собственный Восток России»: политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М., 2013. С. 142.

российской элитой процессов, происходящих в Азии, их интересов России в ней.

Ухтомский в своих работах поднимал вопрос о важности изучения этнографии восточных народов, входящих в состав Российской Империи, главным образом бурят и калмыков, указывая на тесную связь культур этих народов с древнейшими цивилизациями Центральной Азии. Рассуждая о быте и образе жизни калмыков, князь говорил о необходимости их изучения: «Правительство в сущности должно бы придерживаться такого плана: по калмыкам в Европе исподволь и тщательно знакомиться с монголо-тибетской культурой и миросозерцанием принявших ее степняков». А на основании полученных сведений следовало бы выработать правильные принципы для управления «далекою окраиной» и постепенно вникать «в строй туземной жизни и симпатии к нам в китайских пределах»⁵.

Вместе с тем прослеживается влияние идей князя Э.Э. Ухтомского на императора Николая II и в определенной степени на внешнюю политику России в первые пять лет его правления. Близкими к взглядам Ухтомского о задачах России на Востоке и способах их достижения были представления министра финансов С.Ю. Витте, который выступал за мирную экономическую экспансию на Дальнем Востоке и был противником военного вмешательства России во внутренние дела азиатских государств. Близость Ухтомского к Николаю II также отмечалась современниками. По словам редактора «Нового времени» А.С. Суворина, Ухтомский «говорит государю все»⁶, «князь Ухтомский очень хороший человек – он именно такое впечатле-

⁵ Ухтомский Э.Э. От Калмыцкой степи до Бухары. СПб, 1891. С. 25–26.

⁶ Суворин А.С. Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М., 2000. С. 241.

ние произвел на меня в Москве, – и это приятно, что Государь может через него знать часть правды, которую ему так мало говорят»⁷. Как следует из переписки, император в целом поддерживал взгляды Ухтомского. В ответ на письмо от 23 января 1899 г., к которому князь прилагал статью к вопросу о Китае для одобрения, Николай II написал: «Можете, конечно, напечатать эту статью, с каждым словом которой я *вполне согласен*»⁸. Князь консультировался с императором и по поводу собственных убеждений и планов на будущее, выполнял дипломатические поручения. Кроме того, что Ухтомский непосредственно был вовлечен в дальневосточную политику, им было много сделано для пропаганды «восточнических» идей, являясь издателем с 1896 года газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

Таким образом, явная самоидентификация с Западом у мыслителей и общественных деятелей XIX века, западный характер и структура самих взглядов этих людей, проявлявшиеся при соотнесении России и Востока, сменяются у Э.Э. Ухтомского на более критичное отношение к Западу и западному образу мыслей. Являясь по-своему уникальным культурным явлением не только для своего времени, но для современности, идеи «восточничества» выступают последовательной оппозицией теории ориентализма Э. Саида. А определенное влияние Ухтомского на императора в первые годы его правления проявляется и в стремлении России наладить диалог с восточными странами, прежде всего с Китаем. Несмотря на то, что «восточнические» идеи после поражения России в войне с Японией оказались несостоятельными, с конца XIX века и до установления совет-

⁷ Там же. С. 268.

⁸ РГИА Ф. 1072. Оп. 2. Д. 6. Л. 5.

ской власти образ Востока играл важную роль в самоопределении части российского общества, что затем нашло свое логичное завершение в оригинальной концепции российских эмигрантов – евразийстве, основанном на последовательном отказе от европоцентризма.

Л.Б. СУКИНА

**«ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА
В СВЕТЕ ТЕОРИИ КУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА**

Во второй половине XVII в., в царствование Алексея Михайловича и его ближайших потомков (Федора Алексеевича, Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, включая регентство царевны Софьи Алексеевны), Россия начинает осознавать себя как часть европейского пространства, включается в европейские экономические и политические связи. В русской культуре этого времени протекают сложные и противоречивые процессы, один из векторов которых принято обозначать термином «вестернизация» и связывать ее с усиливающимся трансформирующим воздействием Запада (См.: Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. М., 1997). Однако многие механизмы и проявления «вестернизации» в России до начала петровских реформ до сих пор не осмыслены исторической наукой, а ее результаты и последствия по-разному оцениваются исследователями.

В последнее время историки русской культуры в своих работах все чаще отказываются от традиционных для историографии предшествующего времени понятий «влияние» и «заимствование» и ищут новые модели описания происходивших в указанную эпоху изменений. Так, в своем сравнительно недавнем исследовании русской культуры XVII в. И.Л. Бусева-Давыдова рассматривала социокультурную ситуацию этой эпохи через призму «своего» и «чужого» как «архетипической культурной оппозиции» (Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искус-

ство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008). Возможно, этот прием хорош для описания некоторых промежуточных явлений трансформации культуры (чем, собственно, и занималась в то время исследовательница), но не позволяет приблизиться к пониманию существа происходивших в культуре глубинных изменений, имевших длительные последствия.

Наиболее удобной и плодотворной для анализа процесса «вестернизации» русской культуры XVII в. нам представляется теория культурного трансфера, получившая известность в середине 1980-х гг. благодаря исследованиям межкультурных связей Франции и Германии (М. Эспань, М. Вернер). Ее познавательные возможности уже апробированы историками и культурологами в отношении культурных процессов, имевших место в разное время в странах восточной и центральной Европы. В настоящее время концепт «культурный трансфер» используется в антропологически ориентированных исследованиях культуры, которую предлагается понимать как «совокупность образцов мышления, восприятия и действия представителей одного общества» (Lüsebrink H.-J. *Interkulturelle Kommunikation: Interaction, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer*. Stuttgart-Weimar, 2005. S. 10). В российской гуманитаристике теория культурного трансфера получила наибольшее распространение среди исследователей истории литературного процесса и перевода (См., например: Лобачева Д.В. *Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий* // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 8. С. 22–27), однако она вполне применима и в источниковедческой парадигме исторического знания, в качестве эмпирического объекта которого выступают различные виды источников, содержащих информацию о прошлом (Медушев-

ская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008).

В исторической ретроспективе «вестернизация» — второй по масштабности трансферный процесс в русской культуре после «византинизации» в Средневековье. Его начало, вероятно, можно отнести к последней четверти XV в. — времени первых активных контактов с западноевропейской, в первую очередь с итальянской, культурой во время строительства в Московском Кремле. Но наиболее зримые очертания (в допетровский период) «вестернизация» обрела во второй половине XVII в., после русско-польской войны 1654–1667 гг., закончившейся Андрусовским перемирием, закрепившим присоединение к России Левобережной Украины и передачу Киева. Восточные белорусские земли, за которые также в этот период шла борьба между Россией и Речью Посполитой, после заключения перемирия отошли к Литве, но некоторая часть представителей белорусской культуры оказалась в это время на службе при московском царском дворе (к примеру, переехавший в Москву писатель и богослов Симеон Полоцкий в 1667 г. был назначен воспитателем детей царя Алексея Михайловича, а в Оружейной палате Московского Кремля появилась большая группа белорусских резчиков по дереву). Таким образом, возникли уникальные условия для интенсификации трансфера идей, характерных для европейской культуры, в зоне которой значительное время пребывали Украина и Белоруссия, в культуру Русского государства.

«Вестернизация» русской культуры во второй половине XVII в. обладает основными характерными чертами, выделяемыми исследователями как показательные для культурных трансферов. Как подчеркивает К.-Ю. Люзебринк, при изучении культурных трансферов значение имеет не национальная со-

ставляющая, а территориально-географическая, социальная и религиозная идентичность исследуемого сообщества (Lüsebrink Н.-J. *Interkulturelle Kommunikation*. С. 12). Во второй половине XVII в. Россия постепенно все чаще осмысливается как восточноевропейская страна (и внутренним взором живущих в ней, и извне), она стремится обрести достойное место в мире православной Европы, в ней возникают социальные явления, сближающие ее с европейскими государствами (рост городов и развитие городской жизни, увеличение доли и усиление социального влияния служилого и торгово-ремесленного слоев населения, появление зачатков системы образования, рост грамотности, формирование художественного и книжного рынков и т.п.). «Вестернизация» была бы не возможна без ее осознанной поддержки государственной властью России. Вероятно, как предлагает М.С. Киселева, ее можно рассматривать как интеллектуальный выбор царя Алексея Михайловича, поддержанный его ближайшим окружением и наследниками (Киселева М.С. *Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — XVIII века*. М., 2011).

Теория культурного трансфера предусматривает комплексное исследование всех трех компонентов трансферного процесса (исходной культуры, культуры-посредника и целевой культуры). В процессе «вестернизации» участвуют исходная западноевропейская культура, культуры-посредники (польская, украинская, белорусская и др.) и целевая или принимающая русская культура. Смысл исследования заключается не в поиске сходных элементов в культуре-доноре, культуре-посреднике и культуре-реципиенте (этим исследователи истории русской культуры XVII в. с различной степенью успешности занимаются с 1920-х гг.), а в анализе механизма их встраивания в целевую

культуру, который учитывает почти неизбежные трансформации посредничающей культурой. Эти трансформации могут быть настолько существенны, что за ними трудно разглядеть исходный материал. Выявлении трансферной цепочки — чрезвычайно важная, но и очень непростая задача. Как правило, это чаще удается осуществить в отношении литературных произведений или ученых трактатов (См., например: Корзо М.А. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической традиции московскими книжниками второй половины XVII века. М., 2011), а в сфере архитектуры и изобразительного искусства дело обстоит гораздо сложнее, так как «исходные образцы» и «посреднические формы» могли не сохраниться или до сих пор не введены в широкий научный оборот.

В культурном трансфере велика роль «переводчиков»-трансляторов и их культурного окружения, осуществляющих процессы отбора, передачи и рецепции элементов исходной культуры. Необходимо понять, почему одним западным элементам отдавалось предпочтение, и они легко входили в русскую культуру XVII в. (например, барочная орнаментика, в том числе и содержащая непривычную символику), а другие (изображения, выполненные с использованием линейной и светотеневой перспективы, круглая скульптура и высокий рельеф) долго подвергались гласным и негласным запретам.

Содержание и качество трансферного процесса во многое зависит от уровней развития исходной, посреднической и принимающей культур. Основная функция культуры-посредника — выравнять различия и сглаживать контрасты. В этой роли во второй половине XVII в. оказались православные культуры восточной Украины и Белоруссии, адаптировавшие книжную и художественную культуру католической и протестантской Ев-

ропы, и делавшие ее в таком виде приемлемой для культурной среды допетровской России. Данные адаптации были призваны восполнять, в том числе, дефицит церковного богословия (укреплявшего авторитет русского патриаршества и епископии) и различных форм светской культуры, практически отсутствующей в России, но без которой не возможна была репрезентация новых идей о дальнейшем развитии страны, запрос на которые к тому времени сформировался в окружении царя Алексея Михайловича.

Изучение истории русской культуры второй половины XVII в. в методологическом контексте теории культурного трансфера, конечно сопряжено с определенными сложностями, но оно вполне возможно. Сохранилось большое количество исторических источников этой эпохи, относящихся к разным видам: документы, богословские сочинения, эстетические трактаты, литературные произведения, памятники архитектуры, изобразительного и прикладного искусства, эпиграфики и др. За несколько последних десятилетий коренным образом изменилось отношение исследователей к этому периоду русской культуры. Его перестали воспринимать как «проходной» этап между средневековой культурой Древней Руси и европеизированной культурой XVIII века, что сказалось на количестве и качестве научных публикаций.

Включение в исследовательскую практику теории культурного трансфера позволит сделать следующий шаг к более отчетливому осознанию того, что «вестернизация» не столько меняла устоявшиеся формы русской культуры, сколько наполняла их содержание новыми идеями, что свойственно именно трансферному процессу. В итоге, «вестернизация» связала историю России с историей европейского мира гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд, и облегчила восприятие населением петровских культурных реформ.

ИЗУЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ: НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ¹

Основная проблема, анализируемая в докладе – возможности использования теоретического арсенала политологии для изучения культурной дипломатии СССР. Хронологические рамки работы охватывают период Холодной войны (1945-1989 гг.).

В большинстве современных определений дипломатия рассматривается как способ осуществления внешней политики государства [см., напр.: Прохоров 1997; Попов 2000]. В свою очередь, сущность политики в политической науке принято неразрывно связывать с феноменом власти [Вебер 1990; Соловьев 2006 и др.]. В этой связи понятие власти следует признать базовым политологическим концептом, создающим возможности для комплексного анализа феномена культурной дипломатии.

Концептуальный анализ власти в научной литературе [Lasswell, Kaplan, 1950; Bachrach, Baratz, 1970; Lukes, 1974; Morriss, 1987; Wrong, 1988; Ледяев 2001 и др.] производится по следующим основным направлениям:

1) изучение сущности власти (понимание власти как способности субъекта или как типа субъект-объектного взаимодействия);

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-10213)

2) рассмотрение субъекта и объекта власти в качестве основных участников властного отношения, классификация индивидуальных и коллективных форм власти;

3) выделение намерения (цели) субъекта в качестве обязательного элемента власти; определение непосредственной цели властного воздействия, понимание власти как власти над кем-то или власти сделать что-либо;

4) соотнесение цели субъекта и интересов объекта власти – «конфликтное» и «консенсусное» понимание природы власти;

5) определение роли в осуществлении власти внутренних (непосредственно контролируемых субъектом) и внешних (нормативных, ситуационных) ресурсов; выявление зависимости силы властного воздействия от соотношения ресурсов субъекта и объекта власти;

6) анализ основных форм подчинения объекта властному воздействию субъекта; выявление специфики первого, второго и третьего лиц власти (власть обязывающих решений, власть формирования повестки, власть воздействия на ценности и интересы объекта).

Приведенные выше общие направления концептуального анализа власти уместно использовать для создания общих теоретических рамок анализа интересующего нас феномена культурной дипломатии. Вместе с тем, следует иметь в виду, что для обозначения культурно-информационного воздействия в сфере международных отношений помимо термина «культурная дипломатия» [Barghoorn 1960; Gienow-Hecht, Donfried 2010; Дэвид-Фокс 2015; Нагорная 2015 и др.] в научной литературе часто используются понятия мягкой силы [Nye 1990; Nye 2002; Най 2006; Nye 2010; Zahran G., Ramos 2010; Lock 2010; Layne 2010; Nisbett 2016 и др.] и публичной дипломатии [Melissen 2005; Gilboa 2008;

Snow, Taylor 2009; Auer, Srugies 2013; Цветкова 2015 и др.]. Сопоставление различных определений данных понятий позволяет увидеть, что если мягкая сила, как правило, отождествляется со способностью страны оказать культурно-информационное воздействие на других участников международных отношений (власть как способность), то термины «публичная дипломатия» и «культурная дипломатия» чаще всего рассматриваются как формы такого воздействия (власть как субъект-объектное отношение).

К числу других значимых теоретических составляющих концептов мягкой силы, публичной и культурной дипломатии, следует отнести:

1) рассмотрение в качестве субъектов международного культурно-информационного воздействия государственных и квазигосударственных структур, специализирующихся на подобных видах внешнеполитической активности; признание того, что негосударственные акторы, ассоциирующиеся с конкретной страной (коммерческие фирмы, некоммерческие организации, публичные неполитические фигуры и т.п.), могут продуцировать благоприятную или неблагоприятную среду для осуществления мягкой силы государства;

2) признание общества (публики) другой страны ключевым объектом мягкого внешнеполитического воздействия; ориентация на выделение в составе общества страны-контрагента целевых групп, более восприимчивых к ресурсам мягкой силы субъекта; рассмотрение в качестве «объектов особого внимания» представителей действующей или будущей политической элиты страны-контрагента;

3) указание на то, что непосредственной (общей) целью использования мягкой силы государства является изменение цен-

ностей (интересов, мнений) объекта; соотнесение этого процесса с созданием привлекательного образа страны-субъекта в общественном мнении другой страны; признание того, что конечной (специфической) целью осуществления мягкой силы является изменение политики другой страны в желаемом для субъекта направлении²;

4) рассуждения о том, используется ли мягкая сила страны-субъекта исключительно с недружественными по отношению к объекту целями («конфликтное» понимание власти как игры с нулевой суммой), либо цели реализации мягкой силы могут частично или полностью соответствовать интересам объекта («консенсусное» понимание власти как игры с позитивной суммой);

5) выделение в составе ресурсов мягкого внешнеполитического воздействия ценностного ядра (потенциально привлекательные жизненные и общественно-политические ценности страны), а также инструментальной периферии (активы, непосредственно используемые в процессе культурно-информационного воздействия); признание того, что ресурсы жесткой силы (военные и экономические) также могут увеличивать мягкую силу страны через формирование мифов о ее непобедимости и экономическом превосходстве; упоминание о том, что при анализе процесса реализации мягкой силы необходимо учитывать ценностные и инструментальные ресурсы, находящи-

² Также в работах по теории мягкой силы упоминается о том, что не всегда изменение поведения объекта в желаемом для субъекта направлении (т.е. реализация «власти над кем-то») способствует достижению результатов, которые субъект хотел бы получить в итоге (т.е. осуществлению «власти сделать что-либо») [Най 2004; Nye 2010].

еся в распоряжения страны-объекта, а также институциональный (нормативный) контекст субъект-объектного взаимодействия;

6) обращение внимания на различные параметры интенсивности культурно-информационного воздействия одной страны на другую (общие траты на реализацию целей использования мягкой силы, интенсивность информационного вещания за рубежом, объемы зарубежных продаж культурных товаров и пр.);

7) признание того, что в соответствии с уровнями целеполагания субъекта следует выделять два вида результатов, связанных с использованием мягкой силы государства: а) результаты общего воздействия – изменение ценностей объекта, создание привлекательного образа страны-субъекта в общественном мнении другой страны (третье лицо власти)³; б) результаты специфического воздействия – легко наблюдаемые действия правительства другой страны, например, поддержка политики страны-субъекта в ООН, предотвращение нападения, охрана границ, защита союзников (первое и второе лица власти).

Первичное наложение рассмотренных выше теоретических конструкций на доступные автору данные о специфике культурной дипломатии СССР периода Холодной войны [GOA 1979; Gould-Davies 2003; Най 2006; Magnuddottir 2010; Филимонов 2013; Шерп 2013; Дэвид-Фокс 2015; Нагорная 2015; Peterson

³ Общее воздействие, как правило, предполагается измерять с использованием данных массовых опросов иностранной аудитории об уровне привлекательности страны-субъекта, ее культуры, ценностей, брендов и политики [Най 2006; Нye 2010].

McDaniel 2015; Kozovoy 2016] позволяет сформировать общую логику анализа интересующего нас феномена.

Во-первых, в качестве субъектов культурной дипломатии СССР в годы Холодной войны следует выделить правительственные и партийные структуры, отвечавшие за культурную и информационную политику Советского Союза за рубежом (МИД, ГККС, идеологический отдел ЦК КПСС, отдел ЦК по связям с коммунистическими партиями зарубежных стран и др.), а также негосударственные (квазигосударственные) организации соответствующей направленности (ВОКС, ССОД и др.). Инициативы «неорганизованной общественности» в этой сфере следует признать возмущающими факторами, которые могли как способствовать, так и препятствовать организованной активности «полномочных субъектов» советской культурной дипломатии.

Во-вторых, зарубежные страны как макрообъекты культурной дипломатии СССР 1945-1989 гг. в самом общем виде следует разделить на три больших категории: а) страны Советского блока и другие социалистические страны; б) страны Третьего мира; в) капиталистические страны во главе с США. Вопрос о критериях выделения в структуре общества стран, ставших макрообъектами советской культурной дипломатии, более узких целевых аудиторий требует дополнительной проработки.

В-третьих, самой общей целью культурной дипломатии СССР периода Холодной войны следует признать распространение советской идеологии в мире, убеждение остального мира в привлекательности коммунистической системы. Эта общая цель может быть конкретизирована по нескольким основным направлениям: а) в зависимости от этапов внутривнутриполитического развития СССР после Второй мировой войны (1945-1953, 1953-

1964, 1964-1985, 1985-1989 гг.); б) исходя из специфики объектов культурно-информационного воздействия⁴; в) в зависимости от направлений воздействия (цели научного и технического обмена, цели обмена в сфере искусства и спорта, цели въездного и выездного туризма, цели организации выставок и т.д.).

В-четвертых, ресурсы культурной дипломатии СССР имеет смысл разделить на ценностные (позитивные представления о советском образе жизни, советском политическом устройстве) и инструментальные (имеющиеся в распоряжении СССР средства культурно-информационного воздействия на другие страны). Такая классификация ресурсов позволит проследить качественную (содержательную) и количественную динамику культурно-информационной активности СССР на протяжении рассматриваемого периода. При этом следует иметь в виду, что в отношении разных категорий объектов эта динамика могла существенно различаться. Кроме того, отдельный комплекс проблем связан с оценкой качества культурно-информационной активности СССР за рубежом⁵.

В-пятых, необходимо признать, что использование СССР средств культурно-информационного воздействия на зарубежную аудиторию в годы Холодной войны осуществлялось в определенном контексте. К числу значимых параметров этого контекста необходимо отнести: а) международные успехи и неудачи СССР в военно-политических и экономических отношениях с

⁴ Например, в отношении населения стран Восточной Европы одной из ключевых целей культурной дипломатии СССР считается продвижение ценностей советской интеграции [Нагорная 2015]

⁵ Единичные суждения о качестве советской зарубежной пропаганды и культурной активности содержатся в работах: GAO 1979; Най 2006.

другими странами⁶; б) ценности (цели, интересы), ресурсы и ответную активность стран-объектов культурной дипломатии СССР; в) культурно-информационную политику США в странах, ставших объектами культурного воздействия Советского Союза [см., напр.: Цветкова 2015]⁷; г) международные «правила игры», в том числе двусторонние соглашения о культурном сотрудничестве, а также неформальные нормы двустороннего взаимодействия в культурной сфере.

В-шестых, при изучении результатов культурно-информационной активности СССР внимание следует обратить на следующие аспекты: а) динамику формирования СССР выгодной для себя информационной повестки в зарубежных СМИ; б) интенсивность трансляции Советским Союзом социалистических ценностей с использованием средств культурной дипломатии; в) изменение общественного мнения зарубежных стран о Советском Союзе и социалистических ценностях⁸.

В целом, представляется, что эвристический потенциал теорий власти, мягкой силы, публичной и культурной дипломатии вполне может быть использован для упорядочивания эмпи-

⁶ В научной литературе есть упоминания о том, что «грубая» политика СССР на внешнеполитической арене часто приводила к серьезному сокращению советских ресурсов мягкой силы [см., напр.: Най 2006]

⁷ Специфическим случаем в этой связи следует признать культурно-информационную активность СССР и США по отношению друг к другу.

⁸ Для оценки названных параметров результативности культурной дипломатии СССР могут быть использованы методы контент-анализа публикаций в иностранных СМИ, а также, в ряде случаев, методы вторичного анализа результатов массовых опросов иностранной аудитории об ее отношении к Советскому Союзу [см., напр.: Рябцева 2002; Рукавишников 2005].

рических данных о культурной дипломатии СССР в годы Холодной войны, восстановления упущенных логических связей при изложении фактического материала.

БИБЛИОГРАФИЯ

Auer C., Srugies A. Public Diplomacy in Germany // CPD Perspectives on Public Diplomacy. 2013/5. Los Angeles, CA: Figueroa Press.

Bachrach P., Baratz M.S. Power and Poverty: Theory and Practice. New York, London, Toronto: Oxford University Press, 1970.

Barghoorn F.C. The Soviet Cultural Offensive. The role of Cultural Diplomacy in Soviet Foreign Policy. Princeton, 1960.

General Accountability Office (GAO). The Public Diplomacy of Other Countries: Implications for the United States. Washington, DC: 1979.

Gienow-Hecht J.C.E., Donfried M.C. (eds). Searching for a Cultural Diplomacy. Berghahn Books, 2010.

Gilboa J. Searching for a Theory of Public Diplomacy // The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2008. Vol. 616. No. 1. P. 55-77

Gould-Davies N. The Logic of Soviet Cultural Diplomacy. Diplomatic History. 2003. Vol. 27. No. 2. P. 193-214.

Kozovoy A. A Foot in the Door: the Lacy-Zarubin Agreement and Soviet-American Film Diplomacy during the Khrushchev Era, 1953–1963 // Historical Journal of Film, Radio and Television, 2016. Vol. 36. No 1. P. 21-39

Lasswell H.D., Kaplan A.K. Power and Society. New Haven: Yale University Press, 1950.

Layne C. The Unbearable Lightness of Soft Power // Soft Power and US Foreign Policy Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives (ed. by I. Parmar and M. Cox). New York: Routledge, 2010. P. 51-82.

Lock E. Soft Power and Strategy: Developing a «Strategic» Concept of Power // Soft Power and US Foreign Policy Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives (ed. by I. Parmar and M. Cox). New York: Routledge, 2010. P. 32-50.

Lukes S. Power: A Radical View. Basingstoke and London: Macmillan, 1974.

Magnusdottir R. Mission Impossible? Selling Soviet Socialism to Americans, 1955-1958 // Gienow-Hecht J.C.E., Donfried M.C. (eds). Searching for a Cultural Diplomacy. Berghahn Books, 2010. P. 51-72.

Melissen J. (ed.) The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Palgrave Macmillan UK, 2005.

Morriss P. Power: A Philosophical Analysis. Manchester: Manchester University Press, 1987.

Nye J.S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books. 1990.

Nye J.S. The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go it Alone, New York: Oxford University Press. 2002.

Nye J.S. Jr. Responding to my Critics and Concluding Thoughts // Soft Power and US Foreign Policy Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives (ed. by I. Parmar and M. Cox). New York: Routledge, 2010. P. 215-227

Peterson McDaniel C. American-Soviet Cultural Diplomacy: the Bolshoi Ballet's American Premiere. Lanham; Boulder; New York; London: Lexington Books, 2015.

Snow N., Taylor P.M. (eds.) The Routledge Handbook of Public Diplomacy. New-York and London: Taylor & Francis, Routledge, 2009.

Wrong D.H. Power: Its Forms, Bases, and Uses. With a New Preface. Oxford: Basil Blackwell, 1988.

Zahran G., Ramos L. From Hegemony to Soft Power: Implications of Conceptual Change // Soft Power and US Foreign Policy Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives (ed. by Parmar I. and Cox M.). New York: Routledge, 2010. P. 12-31.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Издательство «Прогресс», 1990. С. 644–706

Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 гг. / Пер. с англ. М.: Новое Литературное Обозрение, 2015.

Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001.

Нагорная О.С. «... когда СССР стал сильным и могучим... многие народы нуждаются в нашей дружбе»: аспекты изучения культурной дипломатия в социалистическом лагере (1949-1989) // Диалог со временем. 2015. № 53. С. 269-278.

Най Дж. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике. Перевод с англ. В.И. Супруна. Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2006.

Попов В.И. Современная дипломатия – теория и практика. Курс лекций. М: «Научная книга», 2000.

Прохоров А.М. (ред.) Большой энциклопедический словарь: [А — Я]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Большая российская энциклопедия; СПб: Норинт, 1997.

Рукавишников В.О. Холодная война, холодный мир. Общественное мнение в США и Европе о СССР/России, внешней политике и безопасности Запада. М.: Академический проект, 2005.

Рябцева Е.Е. Американское общественное мнение по проблемам внешней политики и его место в политической системе США. Дисс.: д.п.н. Волгоград, 2002.

Соловьев А.И. Идентификация политики: споры и суждения // Полития. 2006. № 1. С. 149-170.

Филимонов Г. «Мягкая сила» внешней политики СССР (май 2013) // Институт стратегических исследований и прогнозов. Режим доступа: <http://isip.su/ru/articles/38>

Цветкова Н.А. Публичная дипломатия как инструмент идеологической и политической экспансии США в мире, 1914-2014 гг. Дисс.: д.и.н. СПб, 2015.

Шерр Дж. 2013. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом. Пер. с английского / Королевский институт международных отношений Chatman House, Центр Разумкова. Киев: Заповіт, 2013.

Е.В. ХАХАЛКИНА

**СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ИСТОРИОГРАФИИ ПОСТИМПЕРСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И ИХ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ**

Миграционный кризис, поразивший страны Европейского союза и послуживший одной из причин Брекзита, актуализирует обращение к постколониальным исследованиям. В британской историографии изучения имперских проблем накоплен солидный пласт научных работ, однако поиск новых направлений для объяснения современных событий в Великобритании и Евросоюзе, имеющих прямые отсылки к последствиям деколонизации и трансформации Британской империи, продолжается.

Среди наиболее перспективных направлений в имперских и постимперских исследованиях следует назвать три больших течения, которые представляют собой новый научный инструментарий для осмысления процессов британской деколонизации и формирования постимперской идентичности в контексте современных миграционных проблем страны и ее позиции в отношении ЕС.

Первое направление предложено одним из крупных специалистов по проблемам империализма и политике европейских метрополий XX в. американским историком У.Р. Льюисом. Большое количество работ У.Р. Льюиса посвящено изучению

именно Британской империи и вопросам деколонизации¹. Первые работы У.Р. Льюиса, написанные в 1960-1980-е гг., были выполнены в рамках школы «империалистической истории», которая начала складываться по следам распада мировой колониальной системы.

В рамках этого направления работали такие историки как С. Барнетт, Дж. Дарвин, Т.О. Ллойд, Д. Голдсуорси, У. Киркман, Дж. Чемберлен и другие. Для работ этих авторов, написанных в 1960-1990-е гг., характерно понимание Британской империи и процессов деколонизации преимущественно через выстраивание экономических и политических отношений метрополии и обративших независимость колоний в постколониальный период², а также проведение сравнительного анализа разных моделей деколонизации – британской, французской и других³.

Новым взглядом на Британскую империю стала высказанная У.Р. Льюисом идея о том, что Британская империя пред-

¹ Louis R. Wm. *Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez and Decolonization: Collected Essays*. L., N.Y., 2006. 1066 p.

² Barnett C. *The Collapse of British Power*. Gloucester, 1972. 643 p.; Darwin J. *Britain and Decolonization. The Retreat from Empire in the Post-war World*. N.Y., 1988. 383 p.; Goldsworthy D. *Colonial Issues in British politics. 1945-1961. From "Colonial Development" to "Wind of Change"*. Oxford, 1971. 425 p.; Hargreaves J. D. *Decolonization in Africa*. L., N.Y., 1988. 263 p.; Kirkman W. P. *Uncrambling an Empire. A Critique of British Colonial Policy. 1956-1966*. L., 1966. 218 p.; Lloyd T.O. *Empire to Welfare State: English History 1906-1976*. Second edition. Oxford, 1979. 511 p.; Louis R. Wm. *Imperialism at Bay: The United States and the Decolonization of the British Empire*. Oxford, 1977. 595 p. Sanders D. *Losing an Empire, Finding a Role: British foreign policy since 1945*. L., 1990. 349 p.

³ *Decolonization and After. The British and French experience*. Ed. by W. H. Morris-Jones and G. Fischer. L., 1980. 396 p.; Chamberlain M. E. *Decolonization*. L., N.Y., 1985. 140 p.

ставляла собой фронтир, и к ней применима соответствующая концепция. Теорию фронта в конце XIX в. сформулировал американский историк Ф. Дж. Тёрнер, и согласно ее основным положениям, освоение Дикого Запада и постоянное продвижение фронта – подвижной границы – способствовало появлению и развитию в США демократических институтов, гражданского общества и особых ментальных характеристик американской нации. Неслучайно, фронтир был обозначен Тёрнером как «полоса наиболее быстрой и эффективной американизации»⁴.

В дальнейшем эта концепция нашла выражение во внешней политике США – постоянное распространение влияния Вашингтона на другие территории за пределами континента (фронтир исчерпал себя к началу XX в.) стало рассматриваться как главное условие процветания и укрепления международных позиций Соединенных Штатов. По мнению У.Р. Льюиса, появление программы «Новых рубежей» Дж. Ф. Кеннеди (более корректный перевод «Нового фронта») означало, что «имперские фронтиры Европы прекратили свое существование», и место европейских империй в мире заняли США⁵.

Именно в таком – метафорическом – применении фронта изучение Британской империи представляется перспективным с точки зрения понимания процессов, связанных с американским «вытеснением» Великобритании с тех территорий, из которых под влиянием процессов деколонизации страна была вынуждена уйти.

⁴ Тёрнер Ф. Дж. Фронтир в американской истории / Пер. с англ. М., 2009. С. 15.

⁵ Louis R. Wm. Ends of British Imperialism. The Scramble for Empire, Suez and Decolonization. L., N.Y., 2006. P. 502.

Такой взгляд уже подхвачен российскими историками, которые рассматривают политику США и Великобритании в Ближневосточном регионе после Второй мировой войны в логике концепции фронта⁶. С учетом современных событий на Ближнем и Среднем Востоке обращение к вопросам выстраивания англо-американского партнёрства в этом регионе представляется актуальным для понимания сущности и вектора происходящих событий.

Вторым направлением имперских исследований в западной историографии в последние годы становится осмысление Британской империи как «культурного проекта»⁷ в рамках «новой империалистической истории» или постколониальной истории. Выразителем этой концепции стал профессор Оксфордского университета Дж. Дарвин, который рассматривает Британскую империю как «глобальный феномен» или «культурный проект», включающий три ключевых элемента: «переселенческая империя “белых доминионов”», «коммерческая империя Лондонского Сити» и «Большая Индия», которая обеспечивала рынки, трудовую и военную силу⁸.

Понимание Британской империи как культурного проекта предпринято и в работе известного британского историка Н.

⁶ См.: Пелипась М. Я. Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем и Среднем Востоке в 1945-1956 гг. Томск, 2003; Он же. «Новый фронт» администрации Дж. Ф. Кеннеди на Ближнем и Среднем Востоке (1961-1963 гг.). Томск, 2015. См. также: От миропорядка империй и имперскому миропорядку. / Отв. ред. Ф. Г. Войтоловский, П. А. Гудев, Э. Г. Соловьев. М., 2005.

⁷ См. например: Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии. М., 2013.

⁸ Darwin J. The Empire Project. The Rise and Fall of the British-World System. 1830-1970. Cambridge, 2009; Idem. Unfinished Empire: The Global Expansion of Britain. L., 2013.

Фергюсона «Империя: чем современный мир обязан Британии»⁹. Фергюсон на разнообразном материале показывает эволюцию представлений империи о самой себе и входивших в ее состав территорий и народах в длительной ретроспективе. Автор справедливо считает, что империя не ушла безвозвратно в прошлое, эстафету подхватили США, которые, отрицая свою имперскость, в реальности повторяют ошибки Великобритании¹⁰.

Взгляд на Британскую империю как «глобальный культурный феномен» открывает возможности дать ей оценку в преломлении сегодняшнего дня. Состоявшийся Брекзит эксперты уже оценили как всплеск «постимперского» синдрома Великобритании и свидетельство несформировавшейся общеевропейской идентичности. Современные дискуссии внутри нового британского правительства под руководством Т. Мэй о пересмотре отношений с Содружеством в условиях выхода из Европейского союза показывают, что последствия деколонизации до сих пор определяют внешнеполитическую идентичность страны.

Третьим направлением в зарубежной историографии является концепт «Британского мира». Под этим почти неизвестным в российской исторической науке термином западные историки призывают понимать территории, которые в разное время входили в состав Британской империи. Внутри «Британского мира» (более широкого по своему географическому охвату, чем Содружество) наблюдаются интенсивные миграционные потоки, и часть его жителей соотносят себя с Великобританией.

⁹ Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии. М., 2013. 560 с.

¹⁰ Там же. С. 485-486.

Модель «Британского мира», представленная в коллективной работе признанных ученых в области исследований британского колониализма «Империя, миграция и идентичность в Британском мире», включает «диаспору, культуру и идентичность»¹¹.

Под таким углом зрения особое внимание исследователи начинают уделять таким недостаточно изученным проблемам как состояние мультирасовых отношений в странах, отошедших от Великобритании после Второй мировой войны и на территориях которых остаются крупные британские диаспоры, гендерные вопросы и мобильность внутри «Британского мира».

Редакторы коллективной монографии, предваряя исследования в рамках предложенного ими «британского мира» К. Федорович и Э. Томпсон справедливо обращают внимание на то, многочисленные теории империализма, рожденные во второй половине прошлого века, «жонглировали массивом разных факторов – экономических, политических, военных, стратегических и, позднее, идеологических и культурных – в попытках объяснить причины и следствия заморской экспансии европейских стран»¹². Эмиграция попадала в исследовательское поле нечасто, прежде всего потому, что представляет собой «ускользающий феномен»: «внутри империи диаспоры эмигрантов – любой этничности или национальности – редко наносились на карту точно в соответствии с формальными границами колониального управления, что затрудняло их изучение»¹³.

¹¹ Empire, Migration and Identity in the British World. Ed. by K. Fedorowich, A.S. Thompson. Manchester, 2013.

¹² Ibid. P. 1.

¹³ Ibid. P. 1-2.

Долгое время Соединенное Королевство не входило в число государств иммиграции, а являлось страной эмиграции – мобильность внутри империи, а затем Содружества и – в настоящее время – «Британском мире» была традиционно высокой, и вплоть до 1980-х гг. численность эмигрантов превышала иммиграцию в Британию. Внимание же историков, антропологов и представителей других дисциплин на протяжении долгого времени вплоть до сегодняшнего дня в основном приковано к миграционным проблемам внутри самой Великобритании, и «за кадром» остаются аналогичные миграционные и мультирасовые проблемы в странах, составляющих «Британский мир». Применяя предложенную британскими историками модель понимания «Британского мира» у исследователей появляется возможность отойти от «односторонних» оценок миграционных проблем Великобритании только как «иммиграционных» и посмотреть на миграционные феномены в целом – в составе как имми-, так и эмиграции.

Также концепт «Британского мира» представляет интерес с точки зрения проведения сравнительно-исторических исследований – и Британия, и Россия имеют за плечами богатый имперский опыт и схожие проблемы в сохранении и укреплении связей с бывшими колониями или подконтрольными территориями. Учитывая, что в числе внешнеполитических приоритетов современного российского руководства стоят задачи укрепления отношений с бывшими советскими республиками по всему периметру границ страны и в дополнение к уже существующей интеграционной группировке СНГ создана новая структура ЕАЭС, британский опыт выстраивания механизма, до сих пор сплачивающего Содружество, может быть полезен и востребован.

Названные направления в историографии имперских исследований Великобритании не исчерпывает все ее разнообра-

зие, но очевидно представляют интерес и для западной, и для российской исторической науки.

З.А. ЧЕКАНЦЕВА

**«ПОЛИТИКА ВРЕМЕНИ»
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИИ:
ОТ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО К ГЛОБАЛЬНОМУ***

За последние двести лет в исторической науке было разработано множество исторических моделей, совокупность которых, упрощая, можно свести к трем основным вариантам: история национальная, универсальная и глобальная. В конце прошлого века не только конкретно-исторические, но и историографические исследования были встроены в компаративную перспективу. Это открывает новые возможности для сравнительного изучения современных моделей глобальной истории и традиционных способов моделирования. Фрагментированная историография длительное время была связана главным образом с национальной моделью, что порождало эпистемологический скептицизм. Плюрализм XXI века усиливает релятивизм в историографической практике. Сравнение различных историографий позволяет осмыслить социально-исторические основания релятивизма и представить их в качестве рационального антидота. При этом наряду с методами анализа учитывается политика сравнения, активно присутствующая при выборе аналитических параметров.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00418 «Исследовательские стратегии и практики историков России на рубеже XX-XXI вв.».

Современная мировая история это не только «предмет», но и совокупность способов изучения самых разных исторических объектов. Французский историк Серж Грузинский, получивший на XXII международном конгрессе исторических наук 2015 года престижную премию за свои труды, созданные в русле глобального подхода, отвечая на вопрос о том, как он определяет глобальную историю, сказал: «Она заключается в том, чтобы понять сегодня, как в прошлом развивались процессы глобализации/мондьялизации и какое сопротивление они вызывали. История глобального всегда исходит из локального, позволяя выяснить, с чем именно это локальное связано.» Но главный вопрос, который волнует всех, а не только ученых, полагает Грузинский, «заключается в том, чтобы понять какие инструменты нужны, чтобы понять мир который нас окружает. Если история не сможет помочь в этом, то скоро не будет ни студентов историков, ни преподавателей истории».

Историческое как интегральная часть мышления было изобретено сравнительно недавно в эпоху Ренессанса. Это изобретение стало результатом длительного интеллектуального процесса в контексте меняющихся условий человеческого существования. Но лишь после интенсивных перемен рубежа XVIII-XIX вв. *историческое* стало неотъемлемой составляющей всякой мысли. Рождение профессиональной истории как института было связано со становлением государства-нации. В эпоху *modernity* национальная история воспринималась как естественный способ создания нации и единственная адекватная форма исторического процесса. Модель универсальной истории, основы которой были заложены романтиками, представлялась как сумма историй национальных. Ее формирование как идеала холистской системности отодвигалось в будущее. Модели «всемирной

истории» эпохи Просвещения в конце XIX века были признаны «философскими», поскольку они не были основаны на архивных документах и воспринимались как предварительный синтез, лишенный «научного» метода. Философия истории и академическая историография длительное время развивались параллельно, нередко в состоянии «диалога глухих».

В 1970 годы Р. Козеллек, вводя в науку макроаналитические категории *пространство опыта* и *горизонт ожидания*, стремился показать условия возможности *исторического* как явления. Его идеи способствовали антропологизации истории, поскольку «нет такой истории, которая бы не конституировалась посредством опыта и ожиданий действующих и переживающих людей». (Козеллек Р. «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» – две исторические категории// Социология власти. Том 28. 2016. № 2. С.149-173.). В начале XXI века историография, опираясь на исследовательский опыт антропологически ориентированной истории и методологические повороты рубежа веков, возвращается к этим категориям для историзации концепта *время*. Важным вкладом в понимание *исторического* стала синтагма *режим историчности* (Hartog F., Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil, 2003), а также реабилитация табуированного в историописании *анахронизма*. (Rancière J. Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien // L'Inactuel, n° 6, automne 1996, p53-68; Loraux N. Éloge de l'anachronisme en histoire // Le genre humain, n°27, éditions du Seuil, 1993, p23-39. Олейников А. Откуда берётся прошлое?(Апология анахронизма)// Новое литературное обозрение. 2014, 2 (126).)

Размышления над временем мира не претендуют на решение множества проблем, которые порождены глобализацией и

трансформацией социума и науки. Тем не менее, проблематика времени стала одной из ключевых рефлексивных тем современных социальных наук, содержание которой, безусловно, важно для историков, включая тех, кто продолжает работать с конкретным материалом в русле наивного реализма. Темпоральные ориентации в культуре являются основой базовых ценностей, во многом определяющей формы мышления/воображения и логику поступков. Не удивительно, что этой теме посвящены многочисленные исследовательские проекты и научные мероприятия, разрабатываются междисциплинарные программы, направленные на поиск принципиально новых теоретических и методологических инструментов, позволяющих «включить сложность/хаос в наше понимание sensemaking процессов прошлого, настоящего и будущего».

Историки вместе с философами, социологами, антропологами и лингвистами интенсивно обсуждают принципиально важные эпистемологические вопросы, связанные с темой исторического времени. Каким образом взаимодействует «порядок времени» и историческая реальность? Из каких темпоральностей сотканы хорошо известные и новые модели всемирной истории: национальная, универсальная, глобальная? Какие ритмы, наполняют пространственные масштабы этих моделей? Каким образом в разнообразных культурах различают привычные для нас модусы времени: прошлое, настоящее и будущее? Как осмысление подобных вопросов в междисциплинарном режиме трансформирует историю как науку и профессиональную идентичность историка? (См. напр: Tilmans K., Vree F. van, Winter J. (eds.). *Performing the Past. Memory, History, and Identity in Modern Europe* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

Хорошо известно определение исторической науки, принадлежащее М. Блоку: «история это наука о людях во времени и... наука об изменениях». Однако, время в ремесле историков долго оставалось «немыслимым» (М. де Серто), о нем просто не думали. Многие историки до сих пор вслед за Мишле отождествляют время, историю и историческое изменение. При этом время воспринимается, вопреки общей теории относительности Эйнштейна, как реальное и абсолютное. Именно так понимал его И. Ньютон. Хотя на протяжении прошлого века многие философы и ученые гуманитарии (Ж. Зиммель, Ж. Гурвич, В. Беньямин, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель Ф. К. Помьян, Ф. Анкерсмит, Ж. Ле Гофф, П. Рикер и др.) предложили немало интересных идей, позволяющих в материале показать *историческую* относительность исторического времени. В 2008 г. этот вопрос, обсуждаемый со времен античности, вновь актуализировала Лин Хант, процитировав «Физику» Аристотеля: «Во-первых, относится ли время к классу вещей, которые существуют или к тем вещам, которые не существуют? И во-вторых, какова его природа?» (Hunt L. *Measuring Time, Making History*. Budapest : Central European University Press, 2008, p. 4.)

В конце XX века историческое время модерна было проблематизировано также в постколониальных исследованиях, обосновавших мысль, что концепция времени, сформировавшаяся в эпоху модерна, применима только в истории Запада. Созданная в русле этой концепции периодизация и ее имплицитный телеологизм предопределяет содержание теорий модернизации и глобализации, а также всю западную версию «историчесткой» истории. Показано также, что в русле этой истории время было объединено с пространством, а отношения историков со временем во многом зависит от того, в каком регионе они

работают. В связи с возвышением роли памяти историки проявляют озабоченность по поводу современного статуса прошлого и отношений между прошлым и будущим. Активно обсуждается понятие исторической дистанции как обязательного в «объективном» историческом исследовании разрыва между прошлым и настоящим. А также перформативный характер установления границ между базовыми темпоральными модусами. Постановка вопроса об историчности времени привела к потребности переопределить историчность истории. (Bevernage B., Lorenz Ch., *Breaking up Time. Negotiating the Borders between Present, Past and Future*// *History of Historiography. International Review*. 2013. N 1 (63). P. 31-50.)

В современных дискуссиях о характере и формах исторической динамики время предстает не как нейтральный медиум в работе историка с исторической информацией, но как деятельный актер, связанный с этикой и политикой. Кто знает, куда идет время? Откуда приходит прошлое? Кто и с какой целью устанавливает границы между прошлым, настоящим и будущим? Эти и другие подобные вопросы в очередной раз актуализировали вопрос о неизбежной политической ангажированности исторического познания. В современных междисциплинарных дебатах о научном статусе истории и идентичности историка эта ангажированность все увереннее связывается с ключевыми для исторической эпистемологии темпоральными проблемами. Высказываются суждения о том, что мы находимся в преддверии «принципиально нового понимания связей исторического и политического». (Osborn P. *The Politics of time: Modernity and Avant-Garde*. London: Verso. 1995; *Политика времени*// *Социология власти*. 2016. Том 28. № 2).

О ЗНАЧЕНИИ ОПЫТА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО «ПОГРАНИЧЬЯ» В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННЫХ ВЫ- ЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ.

Определяющая черта современной ситуации в мире — перевод всех существующих к настоящему времени человеческих сообществ в неустойчивое, переходное, «пограничное» состояние. Главная его характеристика – нарушение целостности духовных оснований всех цивилизаций планеты и доминанта культурного многообразия, которое повсеместно начинает преобладать над принципом единства социокультурных систем или, по меньшей мере, ставит его под вопрос. Массовые миграционные потоки – один из главных факторов, обуславливающих подобное положение дел и одновременно одно из основных его внешних проявлений.

Та черта, которая определяет специфику современной «пограничной» ситуации в мире (преобладание начала многообразия над началом единства) является главной отличительной особенностью цивилизаций «пограничного» типа на всем протяжении их исторического существования. При этом социокультурные системы этих цивилизаций (к их числу в настоящее время относятся Россия-Евразия, Латинская Америка и Балканская культурно-историческая общность, определенные черты «пограничности» сохраняет до сих пор и иберийская Европа, несмотря на преобладающую в ней тенденцию интеграции в западную субэкумену) парадоксальным образом сохраняют целостность в условиях доминанты многообразия. Поэтому опыт цивилизационного «пограничья» приобретает особое значение в нынешних условиях

«фронтиризации» («опограничивания») смыслового пространства практически всех ныне существующих культур.

В цивилизационных системах «пограничного» типа нет какой-то одной господствующей Большой Идеи, пронизывающей собой (как в "классическом" типе, объединяющем великие цивилизации Востока и Запада, «субэкумены» по терминологии Г.С. Померанца) все многообразие составляющих цивилизацию элементов и выступающей в качестве архетипа, положенного в ее основу. В цивилизационном "пограничье" само взаимодействие разнородных начал выступает в качестве базового архетипа. Архетип предстает в данном случае не как *результат* взаимодействия, ставший его инвариантным фактором, "отлитый" в определенные устойчивые символические формы, а как *процесс* взаимодействия. Сама действительность "пограничных" цивилизаций являет собой сложнейший узел различных типов взаимодействия качественно разнородных традиций, главными из которых являются противостояние, симбиоз и синтез культур. В цивилизационном «пограничье» основную роль играл и играет симбиотический тип взаимосвязи и взаимодействия разнородных составляющих цивилизационного целого. Специфика симбиоза — в том, что участники контакта уже соединены здесь неразрывной системной связью, однако при этом каждый остается самим собой, а нового культурного качества, качественно отличного от тех традиций, которые изначально вошли в соприкосновение, не возникает. В контексте рассматриваемой темы это означает, что каждый из участников взаимодействия сохраняет в рамках симбиоза собственную идентичность, а сама «пограничная» реальность предстает в этом ракурсе как переплетение разных идентичностей, вырастающих из различных корней.

Крайне противоречивый характер взаимосвязи различных составляющих данной реальности находит свое проявление в

таких ее характеристиках, как амбивалентность социокультурных ориентаций (то есть одновременная направленность в противоположные стороны) и антиномичность (тенденция к «лобовому» столкновению полярностей бытия).

Самый главный парадокс действительности цивилизационного «пограничья» заключается в том, что, как уже говорилось, в условиях доминанты многообразия единство тоже вполне реально. Значит, реально существует и общая идентичность «пограничной» цивилизационной системы как целого, несводимая к сумме идентичностей взаимодействующих в ее рамках традиций.

Перед любым исследователем «пограничной» реальности неизбежно встают два вопроса.

Во-первых, как возможно существование какой бы то ни было системности в условиях амбивалентности — антиномичности? Иными словами, как вообще возможно единство при доминанте многообразия?

Во-вторых, если такая системность все-таки существует, в чем ее отличительные особенности? Ответить на эти вопросы — значит разгадать загадку, которая заключена в самом факте существования «пограничных» цивилизационных систем.

Стремление разгадать эту загадку было и остается одним из наиболее глубоких внутренних побудительных мотивов (он отнюдь не всегда осознается) развития как российской, так и латиноамериканской, и иберийской (испанской и португальской) общественной мысли.

Автор этих строк также попытался наметить возможные подходы к решению загадки сохранения и воспроизведения целостности «пограничных» цивилизаций в условиях доминанты многообразия.

Определяющим фактором достижения целостности *sui generis* в условиях цивилизационного «пограничья» стал особый

характер взаимосвязи сторон тех острейших противоречий, из которых буквально «соткана» ткань «пограничного» социокультурного бытия. Аверинцев очень точно, на мой взгляд, определил его как «взаимоупор». Описывая «пограничную» цивилизацию Византии, Аверинцев отмечал, что византийская культура «оказывается на редкость сложным, подвижным единством, которое вопреки всем противоречиям, более того, именно через противоречия выявляет определенную логику». Подобное единство - «это единство противоположностей, дополняющих друг друга в рамках системы и гарантирующих равновесие своим взаимоупором». [Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997, с. 250, 252.]

Каким же образом достигается и как проявляется подобный "взаимоупор"? Для "пограничных" цивилизаций характерны одновременно повышенная (по сравнению с "классическим" цивилизационным типом) роль внешних факторов, бóльшая проницаемость для внешних влияний (что является прямым следствием отсутствия монолитной духовно-ценностной основы в условиях доминанты многообразия) и повышенная (опять же по сравнению с "классическими" цивилизациями) способность к переработке этих влияний в соответствии с логикой местной социокультурной "почвы", в конечном счете – к превращению "внешнего" во "внутреннее". Следует особо подчеркнуть: обе эти характеристики одинаково органичны для "пограничной" цивилизационной реальности и служат основой для противоположных тенденций: стремления к максимальной открытости миру и к ревностной защите собственной самобытности.

Подобное сочетание, "взаимоупор" противоположных ориентаций сознания и поведения представляет собой одно из основных внешних проявлений качества амбивалентности. Оно оказалось возможным, в свою очередь, в силу наличия такой ха-

раактеристики цивилизационных "пограничий", как повышенная (по сравнению с "классическими" цивилизациями) проницаемость внутренних границ в культуре, пролегающих в условиях подобных "пограничий" не только между отдельными индивидами и человеческими общностями, носителями тех или иных традиций, но и в душах людей.

Наличие качества повышенной проницаемости внутренних границ в культуре, в свою очередь, обусловлено формированием в духовном космосе "пограничных" цивилизаций еще одной важнейшей характеристики: повышенного уровня оперирования знаковыми структурами различного происхождения и характера, прежде всего сакральными символами. Оперировать знаковыми структурами не могут общность или социальный институт. Это может делать только конкретный живой человек. В силу этого обеспечить повышенный уровень оперирования подобными структурами оказалось возможным лишь в случае кардинального изменения (по сравнению с субэкуменами) соотношения различных уровней развертывания цивилизационного процесса - личностного (индивидуального) и надличностного. Как было установлено в ходе цивилизационных исследований, разница между ними относительна: надличностный пласт – нормативно-ценностная база цивилизации наличествует в любом человеке. В цивилизациях "классического" типа именно он является основой целостности личности. Здесь находит одно из главных своих проявлений доминанта принципа единства.

Однако личность несводима к этой основе. В любом человеке имеется определенное "пространство свободы" по отношению к господствующим нормам и ценностям, некий "несводимый остаток", "собственно индивидуальный" пласт, который и определяет неповторимое своеобразие каждой личности. Для цивилизационного "пограничья" характерно принципиально

иное, по сравнению с "классическими" цивилизациями, соотношение между надличностным и "собственно индивидуальным" уровнями в структуре самой личности. Крайне противоречивое сосуществование качественно различных, в том числе и прямо противоположных ценностно-смысловых ориентаций, отличающее реальность "пограничных" цивилизаций, обуславливает то обстоятельство, что воплощающий общепринятые, официально утвержденные установки нормативно-ценностный пласт в личности "пограничного" типа, по общему правилу, ослаблен, и поэтому его интегративные потенции явно недостаточны для того, чтобы обеспечить ее духовную целостность.

В подобной ситуации решающее значение приобретает тот самый «несводимый остаток» в человеческой индивидуальности, который становится главным фактором достижения ее целостности. Достичь более высокого, чем в «непограничных» человеческих мирах, уровня оперирования знаковыми структурами различного происхождения и характера можно было лишь в «пространстве свободы» личности. Учитывая то, что говорилось выше о специфике соотношения личностного и надличностного уровней цивилизационного процесса в социокультурном «пограничье», это «пространство свободы» следует рассматривать как первичный и в этом смысле ключевой фактор достижения целостности «пограничной» цивилизационной системы.

Перечисленные качества самым непосредственным образом обуславливают специфику идентификационной сферы цивилизационного «пограничья». Для того, чтобы в полной мере оценить специфику, нужно учесть еще одно важное обстоятельство.

Необходимо различать *идентичность как состояние*, характеризующееся качественной определенностью (идентификационный «стержень»), и *образ идентичности*. Идентичность – это состояние человека или общности, обретших смысл суще-

ствования в результате выработки того или иного подхода к решению ключевых экзистенциальных проблем-противоречий. Идентичность может проявляться в различных образах и символах, в которых фиксируется найденный той или иной общностью путь решения названных проблем-противоречий. Образы идентичности могут меняться: в них отражается то, как та или иная общность видит себя в истории, ее представление о самой себе. Но смена *образов идентичности* не означает смены *самой идентичности*. Эти образы, как правило, напрямую зависят от конкретно-исторической ситуации. Кроме того, они в очень значительной мере формируются, как правило, на идеологическом уровне, в соответствии с той или иной, избранной интеллектуальной и политической элитой *идентификационной стратегией*.

Как свидетельствует исторический опыт, разные образы идентичности могут в разной степени соответствовать состоянию идентичности, в разной мере отражать и проявлять это состояние. То есть образ идентичности и идентификационной стержень — инвариант могут в большей или меньшей степени совпадать или не совпадать друг с другом. Однако практически всегда между ними существует некий «зазор». В цивилизационном «пограничье» он особенно велик: общая доминанта многообразия проявляется и в многообразии образов идентичности. Важно отметить, что может возникнуть и действительно возникает противоречие между образом идентичности и идентификационным стержнем, в результате чего появляется необходимость приведения образа в соответствии с реальностью идентичности.

Важнейшая характеристика «пограничной» системности — относительное свободное оперирование знаковыми структурами различного происхождения и характера, которое, как было показано выше, обеспечивает повышенную проницаемость внутренних границ в культуре, прямо обуславливает тенденцию

цивилизационных «пограничий» к относительно частой смене образов идентичности. К примеру, и знаменитые «5 Росзий» Н.А. Бердяева, и «9 Росзий» И.В. Кондакова, и различные «проекты» устройства латиноамериканской жизни у Л.Сea [Сea Л. Философия американской истории. М., 1984; Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с.67; Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997, с.29] - все это именно различные образы идентичности российской и латиноамериканской цивилизаций, сменявшие друг друга при неизменности идентификационного стержня – процесса взаимодействия разнородных начал, ставшего архетипом-постоянным фактором существования данных цивилизаций.

Главные выводы, которые можно сделать на основании изучения опыта цивилизационного «пограничья» и которые имеют, по моему убеждению, принципиальное значение для понимания проблемы столкновения различных систем ценностей в условиях массовых миграционных потоков:

Во-первых, возможно достижение единства социокультурной системы в условиях доминанты многообразия, предполагающей сохранение основ идентичности всех участников взаимодействия.

Во-вторых, возможно сохранение идентификационного стержня при относительно частой смене образов идентичности.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Аникин Д.А.</i> Национальная память в контексте пост-колониализма.....	5
<i>Белов М.В.</i> "Славянская взаимность": трансфер и переизобретение.....	11
<i>Воробьева О.В.</i> Глобальная история и некоторые трудности 'глобального анализа'.....	16
<i>Гордон А.В.</i> Современная миграция в Европе и проблема цивилизационной интеграции.....	23
<i>Ермаченко И.О.</i> Проблемы войны и мира с «Востоком» в историографии и футурологии современного русского консерватизма (на примере издания «Золотой лев»).....	29
<i>Жидченко А.В.</i> Городское культурно-историческое пространство зарубежных стран как пример нового направления современных исследовательских практик всемирной истории.....	36
<i>Ивонина О.И.</i> Проблема нео-неоконсенсуса в американском дискурсе нового миропорядка.....	42
<i>Кузнецова С.В.</i> Этносимволистская модель образования наций: европейский опыт и неевропейские кейсы.....	47
<i>Линченко А.А.</i> Глобальная история и философия истории.....	52
<i>Липкин М.А.</i> "Историевропеизация": транснациональные тренды исторической науки и опыт корпоративной истории ЕС.....	58
<i>Любомирова Е.С.</i> Американизация, модернизация, вестернизация, интернационализация? Культурный трансфер	

США – Германия и его осмысление в современной немецкой историографии.....	63
<i>Мирзаханов В.С.</i> Миграционные процессы в долгом XIX веке.....	70
<i>Недзелюк Т.Г.</i> Представления мигрантов о правовом пространстве России в контексте психологической теории права Л.И. Петражицкого.....	78
<i>Рокина Г.В.</i> Осмысление/переосмысление русско-словацких контактов XIX века в историографии Словацкой Республики.....	84
<i>Румянцева М.Ф.</i> Историческое знание рубежа XX-XXI вв.: фрагментация vs ренарративизация.....	93
<i>Саватеев А.Д.</i> Перспективы ближневосточных миграций в Россию: сценарии в свете цивилизационных сдвигов.....	100
<i>Суворов В.В.</i> Идеология «восточничества» в контексте рассуждений о применимости теории «ориентализма» Э. Саида к российской имперской политике конца XIX – начала XX вв.	107
<i>Сукина Л.Б.</i> «Вестернизация» русской культуры второй половины XVII века в свете теории культурного трансфера.....	113
<i>Трегубов Н.А.</i> Изучение советской культурной дипломатии: некоторые возможности политической науки.....	119
<i>Хахалкина Е.В.</i> Современные направления в историографии постимперских исследований Великобритании и их научный потенциал.....	131
<i>Чеканцева З.А.</i> «Политика времени» и моделирование истории: от универсального к глобальному пониманию исторического.....	139

Шемякин Я.Г. О значении опыта цивилизационного «пограничья» в условиях миграционных вызовов современности.....145

ISBN 978-5-94067-472-6



Подписано к печати 20.IX.2016

Гарнитура Минион

Кол-во стр. 155

Тираж 100 экз.

Номер заказа

Макет, верстка, подготовка к печати

ООО «Эвент Академия»

Институт всеобщей истории РАН

119334, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а

E-mail: dir@igh.ru

www.igh.ru